

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер
I. УЯСНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В ПОЛЕМИКЕ С ЭДУАРДОМ МАЙЕРОМ.
То обстоятельство, что один из наших ведущих историков счел необходимым отдать себе и своим собратьям по специальности отчет о цели и характере своей работы, не может не пробудить интерес, выходящий за пределы специальных кругов, уже одним тем, что в данном случае исследователь преступает границы частных дисциплин и вступает в область гносеологических проблем. Правда, это имеет и ряд отрицательных последствий. Предпосылкой плодотворного оперирования категориями логики, которая на ее современном уровне есть такая же специальная наука, как и всякая другая, является повседневная работа с ними, совершенно так же, как это делается в любой другой дисциплине. Между тем претендовать на такое постоянное занятие логическими проблемами Э. Майер, о работе которого («К теории и методологии истории». Галле, 1902) здесь идет речь, безусловно, не может и не хочет – в такой же мере, как и автор последующих строк. Следовательно, критические замечания гносеологического характера, высказанные в названной работе, можно уподобить диагнозу не врача, а самого пациента, и в качестве такового их следует по достоинству оценивать и трактовать. Специалисты в области логики и теории познания будут в ряде случаев удивлены формулировками Э. Майера, быть может, они и не найдут для себя ничего нового в этой работе, что, однако, ни в коей мере не умаляет ее значения для смежных с ней частных дисциплин^[1]. Наиболее значительные достижения в области теории познания получены в результате работы с «идеально-типически» конструированными образами целей и путей познания в области отдельных наук и подчас так высоко парят над ними, что цм трудно невооруженным глазом узнать в этих образах самих себя. Поэтому для понимания своей сущности наукам могут быть доступнее – несмотря на несовершенную с гносеологической точки зрения формулировку, а в известном смысле именно поэтому – методологические истолкования, возникшие в их собственной среде. Изложение Майера в его прозрачности и доступности предоставляет специалистам в области смежных дисциплин возможность продолжить ряд высказанных здесь соображений и тем самым разработать определенные логические вопросы, общие для них и «историков» в узком смысле слова. Такова цель настоящей работы, автор которой, отправляясь от исследования Э. Майера, сначала последовательно вычленяет ряд логических проблем, а затем переходит к рассмотрению с этой точки зрения новых работ по логике наук о культуре. В качестве отправного пункта здесь совершенно сознательно взяты чисто исторические проблемы, от которых лишь в процессе дальнейшего изложения совершается переход к социальным дисциплинам, выявляющим «правила» и «законы». В наши дни неоднократно делалась попытка защитить своеобразие социальных наук посредством установления границ между ними и «естественными науками». При этом известную роль играла молчаливо принятая предпосылка, будто в задачу «истории» входит только собирание фактов или только чистое «описание»; в лучшем случае она якобы составляет «данные», которые служат строительным материалом для «подлинной» научной работы. К сожалению, и сами историки в своем стремлении обосновать своеобычность «истории» как профессии немало способствовали предубеждению, согласно которому «историческое» исследование есть нечто качественно иное, чем «научная» работа, так как «понятия» и «правила» «не представляют интереса для истории». Поскольку в настоящий момент в результате длительного влияния «исторической школы» и наша наука обычно строится на «историческом» фундаменте и поскольку отношение к теории все еще, как и 25 лет тому назад, составляет нерешенную проблему, нам представляется правильным прежде всего задать вопрос, что же следует понимать под «историческим» исследованием в его логическом значении, а затем рассмотреть этот вопрос на материале безусловно «исторической», по общему признанию, работы, в частности той, критике которой прежде всего посвящена данная статья.

Э. Майер начинает с предостережения от переоценки значения методологических штудий для исторической практики: ведь даже самые глубокие методологические знания еще никого не сделали историком, а неверные методологические положения неизбежно ведут к порочной исторической практике – они доказывают только то, что историк неверно формулирует или толкует правильные максимы своей работы. С этим предостережением, по существу, можно согласиться: методология всегда является лишь осознанием средств, оправдавших себя на практике, а тот факт, что они отчетливо осознаны, в такой же степени не может служить предпосылкой плодотворной работы, как знание анатомии – предпосылкой «правильной» ходьбы. Более того, так же как

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org человеку, пытающемуся контролировать свою походку на основе анатомических знаний, грозит опасность споткнуться, подобная угроза встает и перед специалистом, пытающимся определить цель своего исследования, руководствуясь методологическими соображениями^{2}. непосредственно помочь историку в какой-либо части его практической деятельности – а это, конечно, также составляет одно из намерений методолога – можно только тем, чтобы раз и навсегда научить его не поддаваться импонирующему влиянию философствующих дилетантов. Только в ходе выявления и решения конкретных проблем, а отнюдь не благодаря чисто гносеологическим или методологическим соображениям, возникали науки и разрабатывались их методы. Важными для занятия самой наукой эти соображения становятся обычно лишь в том случае, если в результате значительных сдвигов «точек зрения», превращающих материал в объект исследования, складывается представление, что новые «точки зрения» влекут за собой необходимость пересмотра логических форм, в которых протекала до сих пор сложившаяся научная «деятельность», в результате чего и возникает неуверенность ученого в «существовании» своей работы. Нет сомнения в том, что история находится теперь именно в таком положении, и мнение Э. Майера, согласно которому методология не имеет принципиального значения для «практики», не помешало ему самому в настоящий момент и с полным на то основанием обратиться к методологии.

Э. Майер начинает с изложения тех теорий, авторы которых недавно предприняли попытки преобразовать историческую науку с методологических позиций, и формулирует ту точку зрения, которую он хочет в первую очередь подвергнуть критике, следующим образом [с. 5 и сл.]: 1. Для истории не имеют значения и не должны быть приняты во внимание

- а) «случайность»,
- б) «свободное» волевое решение конкретных лиц,
- в) влияние «идей» на поступки людей.

И напротив: 2. Подлинным объектом научного познания надлежит считать

- а) «массовые явления» в отличие от индивидуальных действий,
- б) типичное в отличие от единичного,
- в) развитие «сообществ», в частности социальных «классов» или «наций», в отличие от политических действий отдельных лиц.

И наконец:

3. Поскольку историческое развитие доступно научному пониманию только в рамках каузальной связи, его следует рассматривать как «закономерно» протекающий процесс, и, следовательно, подлинной целью исторической работы является обнаружение «стадий развития» человеческих сообществ, которые с «типической» необходимостью следуют друг за другом, и включение в эти стадии всего исторического многообразия.

В дальнейшем мы временно опускаем все те моменты в рассуждениях Э. Майера, которые специально посвящены полемике с Лампрехтом; я позволю себе также перегруппировать аргументы Э. Майера, а некоторые из них выделить для рассмотрения в последующих разделах так, как это потребует в зависимости от дальнейшего изложения, которое посвящено не только критике книги Э. Майера.

В своей критике неприемлемой для него точки зрения Э. Майер указывает прежде всего на важную роль, которую в истории и в жизни вообще играют «свободная воля» и «случайность» – то и другое он рассматривает как «вполне устойчивые и ясные понятия».

Что касается определения случайности [с. 17 и ел.], то само собой разумеется, что Э. Майер рассматривает это понятие не как объективное «отсутствие причины» («абсолютная» случайность в метафизическом смысле) и не как субъективную случайность, с необходимостью возникающую в каждом отдельном случае определенного типа (например, при игре в кости), не как абсолютную невозможность познания причинной обусловленности («абсолютная» случайность в гносеологическом смысле)^{3} но как «относительную» случайность, то есть логическую связь между раздельно мыслимыми

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org совокупностями причин. В целом такой подход в своей безусловно не всегда «корректной» формулировке близок тому, как это понятие еще и теперь, несмотря на известный прогресс в отдельных вопросах, принимается логиками, которые тем самым возвращаются, по существу, к учению Виндельбанда, изложенному в его первой работе. В основном здесь правильно проводится разделение между двумя понятиями: 1) между упомянутым каузальным понятием «случайности» (так называемая «относительная случайность»): «случайный» результат здесь в данном случае противопоставлен тому, которого можно было «ждать» при данных каузальных компонентах события, сведенных нами к понятийному единству; «случайным» мы считаем то, что не может быть каузально выведено в соответствии с общими эмпирическими правилами из единственно принятых здесь во внимание условий, но обусловлено действием находящейся «вне» их причины [с. 17–19]; 2) отличным от него телеологическим понятием «случайного», которому противоположно понятие «сущностного» – либо потому, что здесь речь идет о предпринятом с познавательной целью образования понятия посредством исключения всех «несущественных» для познания («случайных», «индивидуальных») компонентов действительности, либо потому, что выносится суждение о реальных или мысленных объектах, рассматриваемых как «средства» для достижения «цели»; при этом релевантными «средствами» практически становятся лишь определенные свойства этих объектов, все остальные же – практически «безразличны» [с. 20–21]{4}. Правда, формулировка (особенно на с. 20, где поясняется противоположность между событиями и «вещами» как таковая) оставляет желать лучшего, а тот факт, что проблема логически не вполне продумана в своих выводах, будет показан дальше при рассмотрении позиции Э. Майера в вопросе о понятии развития [см. ниже, раздел II]. Однако то, что он утверждает, в общем удовлетворяет требованиям исторической практики. Нас здесь интересует, как на с. 28 Э. Майер возвращается к понятию случайности. «Естественные науки, – утверждает он, – могут... предсказать, что, если зажечь динамит, произойдет взрыв. Однако предсказать, произойдет ли этот взрыв и когда он произойдет в каждом отдельном случае, будет ли при этом ранен, убит или спасен тот или иной человек, они не могут, ибо это зависит от случайности и от свободной воли, которая им неведома, но ведома истории». Здесь прежде всего бросается в глаза тесная связь между «случайностью» и «свободной волей». Еще отчетливее эта связь выступает во втором примере Э. Майера, где речь идет о возможности «точно», то есть при условии, что не возникнут «помехи» (например, из-за случайного вторжения чужеродных космических тел в солнечную систему), «исчислить» средствами астрономии какую-то определенную констелляцию; при этом утверждается, что предсказать, «заметит» ли ее кто-нибудь, невозможно.

Во-первых, поскольку само «вторжение» чужеродных космических тел, по предположению Э. Майера, «не может быть исчислено», «случайность» такого рода известна не только истории, но и астрономии; во-вторых, в обычных условиях очень легко «исчислить», попытается ли какой-нибудь астроном «наблюдать» за подобной констелляцией и проведет ли действительно, если этому не помешает какая-либо «случайность», такое наблюдение. Создается впечатление, что Э. Майер, несмотря на свое строго детерминистское толкование «случайности», молчаливо допускает тесное избирательное сродство между «случайностью» и «свободой воли», которое обуславливается специфической иррациональностью истории. Остановимся на этом подробнее.

То, что Э. Майер определяет как «свободу воли», ни в коей мере не противоречит, как он полагает [с. 14], «аксиоматическому» «закону достаточного основания», который, и по его мнению, сохраняет свою безусловную значимость в сфере человеческого поведения. Противоположность «свободы» и «необходимости» действий превращается якобы в простое различие аспектов рассмотрения: во втором случае мы видим ставшее, и оно представляется нам вместе с действительно принятым некогда решением «необходимым»; в первом случае мы рассматриваем ход событий как «становление», как нечто еще не наличное, следовательно, еще не «необходимое», как одну из бесчисленных «возможностей». В аспекте становления развития мы никогда не можем утверждать, что человеческое решение не могло бы оказаться иным, чем оно (впоследствии) действительно оказалось. В сфере человеческих действий мы никогда не выходим за пределы «я хочу».

Однако сразу же возникает вопрос: полагает ли Э. Майер, что упомянутое рассмотрение («развитие» в стадии становления и поэтому мыслимое «свободным» – «ставшее» и поэтому мыслимый «необходимым» «факт») применимо только в области человеческих мотиваций, следовательно, неприменимо в

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org области «мертвой» природы? Поскольку он на с. 15 утверждает, что человек, «осведомленный о лицах и обстоятельствах дела», может со значительной степенью вероятности предвидеть результат, решение в стадии его становления, Э. Майер, по-видимому, не принимает эту противоположность. Ведь подлинно точное предварительное «исчисление» индивидуального события на основании данных условий и в мире «мертвой» природы связано с двумя предпосылками: 1) что речь идет только о «доступных исчислению», то есть выраженных в количественных величинах компонентах данности; 2) что «все» релевантные для хода событий условия известны и точно измерены. Во всех других случаях – причем это является правилом, когда речь заходит о конкретном в своей индивидуальности событии, например о погоде в какой-либо день, – мы также не выходим за пределы вероятностных суждений, весьма различно градуированных по своей определенности. Если исходить из этого, то свободная воля не занимает особого места в мотивации человеческих действий, упомянутое «я хочу» представляет собой лишь джеймсовское формальное «fiat» [5] сознания, что также принимают, например, самые детерминистские по своей направленности криминалисты, не нарушая последовательности в применении теории вменения [6]. Тогда «свободная воля» означала бы, что «решению», сложившемуся фактически на основании причин, быть может недоступных полному установлению, но выявленных в «достаточной» степени, приписывается каузальное значение, а это не станет оспаривать ни один, даже самый строгий детерминист. Если бы речь шла только об этом, то было бы совершенно непонятно, почему нас не удовлетворяет то толкование понятия иррациональности истории, которое было дано при рассмотрении «случайности».

Однако при подобном толковании точки зрения Э. Майера прежде всего представляется странным, что он считает нужным подчеркнуть важное значение «свободы воли» в качестве «факта внутреннего опыта», в ответственности индивида за его «волевой акт». Это было бы оправданно, если бы он предполагал, что история выступает «судьей» над своими героями. Возникает вопрос, в какой степени Э. Майер действительно занимает такую позицию. Он пишет [с. 16]: «Мы пытаемся... выявить мотивы, которые привели их» – например, Бисмарк в 1866 г. – «к определенным решениям, в зависимости от этого судим о правильности этих решений и оцениваем (NB!) значение людей как личностей». Исходя из этой формулировки, можно было бы предположить, что Э. Майер считает главной задачей истории выносить оценочные суждения о «действиях» «исторической» личности. Однако не только его отношение к «биографиям», но и его чрезвычайно меткие замечания по поводу несоответствия «собственной оценки» исторических деятелей с их каузальным значением [с. 50–51] заставляют нас усомниться в том, что под «ценностью» личности в предшествующем тезисе подразумевалось или консеквентно могло иметься в виду каузальное «значение» определенных действий или определенных качеств конкретных исторических деятелей (качеств, которые могут играть позитивную роль при вынесении определенного суждения об их исторической ценности или негативную, как, например, при оценке деятельности Фридриха Вильгельма IV). Что же касается «суждения» о «правильности» решений исторических лиц, то его также можно понимать самым различным образом: 1) либо как суждение о «ценности» цели, которая лежала в основе решения, например такой цели, как необходимость, с точки зрения немецкого патриота, вытеснить Австрию из пределов Германии, 2) либо как анализ этого решения в свете проблемы, было ли объявление войны Австрии или, вернее (так как история ответила на данный вопрос утвердительно), почему это решение было именно в этот момент наиболее верным средством достичь поставленной цели – объединения Германии. Мы оставляем в стороне, различал ли отчетливо сам Э. Майер два указанных вопроса; в качестве аргументации исторической каузальности пригодна, очевидно, только постановка второго вопроса. Такое «телеологическое» по своей форме суждение об исторической ситуации в категориях «средства и цели» имеет, очевидно, тот смысл (если оно дано не в качестве рецепта для дипломатов, а в качестве «истории»), что позволяет выносить суждение о каузальном историческом значении фактов, то есть устанавливать, что именно в тот момент не была «упущена» «возможность» принять данное решение, так как «носители» этого решения обладали необходимой «душевной силой», по терминологии Э. Майера, которая позволяла им противостоять сопротивлению с различных сторон. Тем самым устанавливается, какое каузальное значение «имело» здесь названное решение, его характерологические и иные предпосылки; другими словами, в какой мере и в каком смысле наличие определенных «качеств в характере людей» являет собой момент исторического «значения». Совершенно очевидно, что эти проблемы каузального сведения определенных исторических событий к действиям конкретных людей никоим образом не следует отождествлять с проблемой смысла и значения этической «ответственности».

Предложенное Э. Майером определение можно было бы истолковать в чисто «объективном» смысле каузального сведения определенных результатов к данным «характерологическим» качествам и «мотивам» действующих лиц, мотивам, которые могут быть объяснены как данными качествами, так и множеством условий «среды» и конкретной ситуации. Однако нельзя не упомянуть о том, что в другом месте своей работы [с. 44, 45] Э. Майер определяет «исследование мотивов» как метод, имеющий для истории «второстепенное значение»{7}.

Приводимое им основание, согласно которому такое исследование обычно выходит за пределы того, что может быть с уверенностью познано, и часто является собой лишь «генетическую формулировку» действия, которое не может быть убедительно объяснено состоянием материала и поэтому просто принимается как факт, в ряде случаев справедливо, однако вряд ли может служить признаком логического отличия этого метода от часто столь же весьма сомнительных «объяснений» конкретных «внешних» процессов. Но как бы то ни было, данная точка зрения в сочетании с акцентированием значения для истории чисто формального момента «волевого решения» ц с приведенным выше замечанием об «ответственности» заставляет нас предположить, что в понимании Э. Майера этический и каузальный подход к человеческим действиям, «оценка» и «объяснение» в значительной степени сливаются. В самом деле, независимо от того, считать ли, что формулировка Виндельбанда, согласно которой идея ответственности означает абстрагирование от каузальности, может в достаточной степени служить позитивным обоснованием нормативного достоинства нравственного сознания{8}, – эта формулировка, во всяком случае, отчетливо показывает, как царство «норм» и «ценностей», рассматриваемое с позиций каузального подхода эмпирической науки, отграничивается от последней. Конечно, при вынесении суждения о том. «правильно» ли данное математическое положение, не имеет никакого значения вопрос о «психологическом» аспекте его возникновения и о том, в какой мере «математическая фантазия» в ее наивысшей потенции может быть лишь сопутствующим явлением определенной анатомической аномалии «математического мозга». Столь же мало значит для суда «совести» соображение, что «мотивы» наших собственных действий, рассмотренные в этическом аспекте, были чисто каузально обоснованы с позиций эмпирической науки или что эстетическая ценность какой-то мази столь же детерминирована, как и роспись Сикстинской капеллы. Каузальный анализ никогда не дает оценочных суждений{9}, а оценочное суждение – отнюдь не каузальное объяснение. Именно поэтому оценка какого-либо явления, например «красоты» явления природы, относится к иной сфере, чем его причинное объяснение, отсюда отнесение к «ответственности» исторического деятеля перед своей совестью или перед судом какого-либо бога или человека и любое другое привнесение философской проблемы «свободы» в методологию истории совершенно так же лишает историю характера эмпирической науки, как привнесение чудес в ее причинные ряды. Это исключает, конечно, вслед за Ранке и Э. Майер [с. 20]: он указывает на необходимость «четко разделять историческое познание и религиозное мировоззрение». Полагаю, что лучше бы ему не следовать аргументации Штамллера, на которую он ссылается [с. 16 прим. 2], и не стирать столь же очевидную границу между историей и этикой. Какой методологической опасностью грозит такого рода смешение различных подходов, становится ясно из следующего высказывания Э. Майера. На с. 20 он пишет: «Тем самым» – то есть посредством эмпирически данных идей свободы и ответственности – в историческом становлении дан «чисто индивидуальный момент», который никогда «не может быть сведен к формуле», не теряя при этом своей сущности; а далее Майер пытается иллюстрировать свою мысль громадным историческим (каузальным) значением индивидуального волевого решения отдельных лиц. Эта давняя ошибка{10} вызывает беспокойство именно тех, кто стремится сохранить логическое своеобразие истории, так как в силу названного заблуждения в область исторической науки привносятся проблемы совсем иных сфер исследования, что создает впечатление, будто предпосылкой значимости исторического метода является определенная (антидетерминистская) философская концепция.

Совершенно очевидна ошибочность мнения, согласно которому «свобода» ведения, как бы ее ни понимать, идентична «иррациональности» поведения или что последняя обусловлена первой. Специфические «не поддающиеся учету» действия, равные «слепым природным силам» (но не превышающие их), – привилегия сумасшедшего{11}. Напротив, наивысшую степень эмпирической свободы мы связываем именно с теми действиями, которые осознаем как рациональные, то есть совершенно без физического и психического «принуждения», не под влиянием страстей, «аффектов», «случайного» омрачения

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org ясности суждения; с теми действиями, посредством которых мы преследуем ясно осознанную нами цель, применяя самые адекватные, в меру нашего знания, то есть в соответствии с эмпирическими правилами, средства. Если бы объектом истории были только такие, «свободные» в этом понимании, то есть рациональные, действия, задача исторического исследования значительно бы упростилась: из применяемых средств можно было бы однозначно вывести цель, «мотив», «максиму» действующего лица, а все иррациональное, составляющее «личностные» (в вегетативном смысле этого многозначного слова) моменты поведения, просто исключить. Поскольку строго телеологически совершаемые действия предполагают применение эмпирических правил, которые указывают, какие «средства» в наибольшей степени соответствуют достижению цели, то история была бы не чем иным, как применением этих правил{12}. Тот факт, что доведение людей не может быть истолковано столь рационалистически, что «свобода» поведения ущемляется не только иррациональными «предрассудками», ошибками в мышлении и заблуждениями в оценке фактов, но на него влияют также и «темперамент», «настроения» и «аффекты», что в поведении людей, следовательно, – в самой различной степени – обнаруживается то же «отсутствие» эмпирического «смысла», которое мы наблюдаем в явлениях природы, – все это обуславливает невозможность чисто прагматической истории. Однако поведение людей разделяет «иррациональность» такого рода с индивидуальными явлениями природы; поэтому, если историк говорит об «иррациональности» человеческого поведения как о моменте, препятствующем истолкованию исторических связей, то он сравнивает историко-эмпирическое поведение людей не с естественными процессами, а с идеалом чисто рационального поведения, то есть поведения, определяемого целью и полностью ориентированного в вопросе об адекватности средств.

Если в трактовке Э. Майера категорий «случайности» и «свободной воли», связанных с историческим исследованием, намечается некоторая склонность привносить в историческую методологию гетерогенные ей проблемы, то нельзя не констатировать, что в его трактовке исторической причинности также обнаруживаются несомненные противоречия. Так, на с. 40 со всей решительностью подчеркивается, что историческое исследование, двигаясь от действия к причине, всегда направлено на выявление причинных рядов. Уже это положение – в формулировке Э. Майера{13} – можно оспаривать. Само по себе вполне возможно, что для данного в качестве факта или недавно открытого исторического события в виде гипотезы формулируются последствия, которые оно могло бы иметь, и эта гипотеза затем верифицируется на основе имеющихся «фактов». Однако здесь имеется в виду, как мы покажем дальше, нечто совсем другое, а именно: недавно сформулированный принцип «телеологической зависимости», господствующий над каузальным интересом в истории. Более того, совершенно неверно считать, что упомянутое движение от следствия к причине свойственно только истории. Каузальное «объяснение» конкретного «явления природы» идет совершенно тем же путем. Если на с. 14, как мы уже видели, высказывается мнение, будто ставшее является для нас просто «необходимым», и только мыслимое в «становлении» выступает как «возможность», то на с. 40 мы читаем обратное: здесь так решительно подчеркивается специфическая проблематичность умозаключения, которое идет от следствия к причине, что автор приветствовал бы даже исключение из области истории самого слова «причина», а «исследование мотивов» он, как мы уже видели, вообще дискредитирует.

Это противоречие можно было бы – в духе Э. Майера – устранить, предположив, что проблематичность сделанного умозаключения объясняется лишь принципиально ограниченными возможностями нашего познания, тогда детерминированность служила бы неким идеальным постулатом. Однако и такое решение Э. Майер решительно отвергает [с. 23], после чего следует полемика [с. 24 и ел.], которая также вызывает серьезные сомнения. В свое время во введении к «Истории древнего мира» Э. Майер идентифицировал отношение между «всеобщим» и «особенным» с отношением между «свободой» и «необходимостью», а то и другое – с отношением между «отдельным индивидом» и «целостностью» и в результате этого пришел к выводу, что «свобода», а следовательно, и «индивидуальное» господствуют в «деталях», тогда как в основных направлениях исторических процессов действуют «законы» и «правила». Впрочем, на с. 25 он решительно отвергает эту присущую и многим «современным» историкам, в корне неверную в такой формулировке точку зрения, ссылаясь при этом то на Риккерта, то на Белова. Белов подверг сомнению именно идею «закономерного развития»{14} и, приводя пример Э. Майера (объединение Германии в единую нацию представляется нам «исторической необходимостью», время же и форма этого единения в федеративное государство, состоящее из 25 членов, происходит из

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org «индивидуальных, действующих в истории факторов»), задает вопрос: «Разве не могло бы все это произойти и по-другому?»

Эту критику Э. Майер полностью принимает. Однако, по моему мнению, совсем нетрудно убедиться в том, что каким бы ни было отношение к отвергнутой Беловом формулировке Э. Майера, эта критика, стремясь доказать слишком много, не доказывает ничего. Ведь подобный упрек был бы справедлив по отношению ко всем нам, в том числе и к самому Белову, и к Э. Майеру, поскольку мы, не раздумывая, постоянно применяем понятие «закономерного развития». Так, например, тот факт, что из человеческого зародыша возник или возникает человек, представляется нам действительно закономерным развитием, а между тем нет никакого сомнения в том, что внешние «случайные» события или «патологическое» предрасположение могут привести и к «иному результату». Следовательно, в полемике с теоретиками «развития» речь может идти только о правильном понимании и ограничении логического смысла понятия «развития» – просто устранить это понятие с помощью приведенных аргументов невозможно. Лучшим примером может служить сам Э. Майер. Ведь уже через две страницы [на с. 27] в примечании, где устанавливается незыблемость (?) понятия «средние века», он действует вполне в духе схемы, которая была изложена в отвергнутом им впоследствии «Введении»; в тексте говорится, что слово «необходимо» означает в истории только то, что «вероятность» (исторического следствия из данных условий) «достигает очень высокой степени, что все развитие стремится к определенному событию». Ничего другого он ведь и не хотел сказать в своем замечании об объединении Германий. Если же Майер при этом подчеркивает, что упомянутое событие могло бы, несмотря на все это, эвентуально и не произойти, то достаточно вспомнить, что он даже в астрономических исчислениях допускал возможность «помех» со стороны изменивших свою траекторию космических тел. В самом деле, и в этом смысле между историческими событиями и индивидуальными явлениями природы нет разницы. Как только при объяснении явлений природы (подробное рассмотрение этой проблемы здесь увело бы нас слишком далеко {15}) речь заходит о конкретных событиях, суждение о необходимости оказывается отнюдь не единственной и даже не преобладающей формой, в которой выступает категория причинности. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что недоверие Э. Майера к понятию «развития» проистекает из его полемики с Ю. Вельхаузенем, в которой речь шла главным образом (хотя и не только) о противоположных пониманиях следующего вопроса: надлежит ли толковать «развитие» иудаизма как некий «внутренний» процесс («эволюционно») или как следствие вмешательства «извне» конкретных исторических судеб; в частности, считать ли, что настойчивое стремление персидских царей утвердить силу «Закона» вызвано политическими соображениями (интересами персидской политики, а не спецификой иудаизма, то есть не обусловлено «эпигенетически»). Как бы то ни было, если на с. 46 «общее» выступает как «по существу» (?) негативная или, в более резкой формулировке, как «лимитирующе» действующая «предпосылка», устанавливающая границы, «внутри которых находится бесконечное число возможностей исторического развития», тогда как вопрос, какая же из этих возможностей станет «действительностью» {16}, зависит якобы от «высших (?) индивидуальных факторов исторической жизни», – то это отнюдь не улучшает приведенную во «Введении» формулировку. Тем самым с полной очевидностью «всеобщее», то есть не «общая среда», часто неверно отождествляемая с «универсальным», а правило, следовательно, абстрактное понятие, вновь гипостазировано в качестве силы, действующей за пределами истории [с. 46]; при этом оказывается забытым тот элементарный факт – который в других местах Э. Майер ясно формулирует и резко подчеркивает, – что реальность присуща только конкретному, индивидуальному.

Подобная сомнительная по своей значимости формулировка отношения между «общим» и «особенным» присуща отнюдь не одному Э. Майеру и отнюдь не ограничивается кругом историков его типа. Напротив, она лежит в основе популярного, разделяемого также рядом современных историков – но не Э. Майером – представления, будто для того чтобы обеспечить рациональность историческому исследованию как «науке об индивидуальном», необходимо прежде всего установить «общность» в человеческом развитии, в результате чего в качестве «остатка» будут получены особенности и не подлежащие делению «тончайшие соцветия», как сказал однажды Брайзиг. Конечно, по сравнению с наивным представлением, согласно которому назначение истории состоит в том, чтобы стать «систематической наукой», такая концепция являет собой уже «сдвиг» в сторону исторической практики. Впрочем, она также еще достаточно наивна. Попытка понять явление «Бисмарк» в его исторической значимости, получив посредством вычитания общих с другими людьми свойств «особенное»

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org его личности, могла бы служить поучительной и занятой попыткой для начинающих историков. Можно было бы предположить – конечно, при идеальной полноте материала (обычная предпосылка всех логических построений), – что в результате такого процесса в качестве одного из «тончайших соцветий» останется, например, отпечаток пальца Бисмарка – этот наиболее специфический признак «индивидуальности», применяемый в технике уголовного расследования, потеря чего нанесла бы, следовательно, истории совершенно непоправимый урон. Если же мне возмущенно возразят, что «историческими» мы считаем только «духовные» или «психические» качества и процессы, то ведь не подлежит сомнению, что исчерпывающее знание повседневной жизни Бисмарка, если бы мы им обладали, дало бы нам бесконечное множество его жизненных обстоятельств, которые именно таким образом, в таком смешении и в такой констелляции не встречаются ни у кого более; между тем по своей значимости подобные данные не превосходят названный отпечаток пальца. На возражение, согласно которому «очевидно», что наука принимает во внимание лишь исторически «значимые» компоненты жизни Бисмарка, логик мог бы ответить, что именно эта «очевидность» составляет для него решающую проблему, так как логика прежде всего ставит вопрос, что же является логическим признаком исторически «значимых» компонентов.

Тот факт, что приведенный нами пример вычитания – при абсолютной полноте материала – нельзя будет провести даже в далеком будущем, так как после вычитания бесконечного числа «общих свойств» всегда останется такая же бесконечность других компонентов, ревностное вычитание которых (пусть оно даже длится вечно) ни на шаг не приблизит нас к пониманию того, какая же из этих особенностей исторически «значима», – это одна сторона вопроса, которая сразу же обнаружилась при попытке применить данный метод. Другая сторона вопроса состояла бы в том, что при такого рода манипуляциях с вычитанием предполагается такая абсолютная полнота знания каузальных связей явления, которая недоступна ни одной науке, даже в виде идеальной цели. В действительности каждое «сравнение» в области истории исходит прежде всего из того, что посредством отнесения к культурной «значимости» уже проведен отбор, который, исключая необозримое множество как «общих», так и «индивидуальных» компонентов «данного» явления, позитивно определяет цель и направленность сведения его к конкретным причинам. Одно из средств такого рода сведения – и, по моему мнению, одно из самых главных, еще далеко не в достаточной степени используемых, – это сравнение «аналогичных» процессов. О логическом значении данного метода будет сказано ниже.

Э. Майер не разделяет заблуждения, как показывает его замечание, приведенное на с. 48, к которому мы еще вернемся, будто индивидуальное как таковое уже являет собой объект исторического исследования; его высказывания о значении общего для истории, о том, что «правила» и понятия – лишь «средства», «предпосылки» исторического исследования [с. 29], по существу (как будет показано в дальнейшем) логически верны. Однако его формулировка, которую мы подвергли критике выше, в логическом отношении, как уже отмечалось, сомнительна и близка рассмотренному здесь заблуждению.

Между тем у профессионального историка, невзирая на приведенные соображения, вероятно, все-таки сложится впечатление, что и в подвергшихся нашей критике указаниях Э. Майера таится зерно «истины». Это действительно едва ли не само собой разумеется, когда речь идет об изложении своих методов исследования историком такого ранга, как Э. Майер. К тому же он действительно часто очень близок к логически правильным формулировкам тех верных идей, которые содержатся в его труде. Например, на с. 27, где он определяет стадии развития как «понятия», способные служить путеводной нитью для выявления и группирования фактов, и особенно в тех многочисленных случаях, когда он оперирует категорией «возможности». Однако логическая проблема здесь только ставится: необходимо было решить вопрос, как совершается членение исторического материала с помощью понятия развития и в чем состоит логический смысл «категории возможности» и характер ее использования для формирования исторической связи. Поскольку Э. Майер этого не сделал, он, «чувствуя», какова действительная роль «правил» в историческом познании, не смог, как мне представляется, дать этому адекватную формулировку. Эта попытка будет сделана во втором разделе нашего исследования.

Здесь же мы (после необходимых, по существу негативных замечаний по поводу методологических формулировок Э. Майера) обратимся прежде всего к рассмотрению изложенных во втором (с. 35–54] и третьем (с. 54–56] разделе его работы соображений по проблеме, что же такое «объект» исторического

Данный вопрос можно вслед за Э. Майером сформулировать и по-другому: «Какие из известных нам событий «историчны»?» На это Э. Майер сначала в самой общей форме отвечает следующим образом: «Исторично то, что оказывает воздействие и оказывало его в прошлом». Следовательно, то, что в конкретной индивидуальной связи значительно в каузальном аспекте, есть «историческое». Оставляя в стороне все другие возникающие здесь вопросы, мы считаем нужным прежде всего установить, что Э. Майер [на с. 37] отказывается от понятия, к которому он пришел на предыдущей странице.

Ему совершенно ясно, что, «даже если ограничиться тем, что оказывает воздействие» (по его терминологии), число единичных событий останется бесконечным. Чем же руководствуется историк, с полным основанием спрашивает он, «при отборе фактов»? Ответ гласит: «историческим интересом». Однако для этого интереса, продолжает Э. Майер после нескольких замечаний, которые будут рассмотрены ниже, нет «абсолютной нормы», и поясняет затем свое соображение таким образом, что отвергает данное им самим ограничение, согласно которому «историческое» есть то, что «оказывает воздействие». Повторяя замечания Риккерта, проиллюстрировавшего свою мысль следующим примером: «То, что Фридрих Вильгельм IV отказался от имперской короны, есть историческое событие; однако совершенно безразлично, какой портной шил ему сюртук», Э. Майер [на с. 37] пишет: «Для политической истории этот портной действительно большей частью совершенно безразличен, однако вполне допустимо, что он может представлять интерес, например, для истории моды или портняжного дела, для истории цен и т.п.». Положение безусловно, верное, по не может ведь Э. Майер не понимать, продумав приведенный им пример, что «интерес» в первом случае и «интерес» во втором случае совершенно различны по своей логической структуре и что тому, кто игнорирует это различие, грозит опасность смешать две столь же разные, сколь часто отождествляемые категории: «реальное основание» и «основание познания». Поскольку пример с портным недостаточно ясно иллюстрирует нашу мысль, продемонстрируем указанную противоположность на другом примере, в котором такое смешение понятий выступает особенно отчетливо.

В статье «Возникновение государства у тлинкитов и ирокезов»^{17} К. Брайзиг пытается показать, что определенные, присущие быту этих племен процессы, которые он трактует как «возникновение государства из институтов родового строя», обладают «особым репрезентативным значением», что они, другими словами, являют собой «типический» вид образования государства и поэтому обладают, по его мнению, «значимостью» едва ли не во всемирно-историческом масштабе.

Между тем – конечно, если вообще допустить, что построения Брайзига правильны, – оказывается, что возникновение этих индейских «государств» и характер их формирования имели для каузальной связи всемирно-исторического развития ничтожное «значение». В последующей политической или культурной эволюции мира не было ни одного «важного» события, на которое этот факт оказал бы какое-либо влияние, то есть к которому оно могло бы быть сведено в качестве своей «причины». Для формирования политической или культурной жизни современных Соединенных Штатов Америки характер возникновения упомянутых государств, более того, самое их существование совершенно «безразлично», то есть между этими двумя феноменами нет причинной связи, . тогда как воздействие ряда решений фемистокла, например, ощутимо еще и поныне. Это не подлежит никакому сомнению, как бы ни препятствовало оно нашему желанию создать действительно «единую в своем развитии» историю. Между тем если Брайзиг прав, то полученные в результате проведенного им анализа знания о возникновении упомянутых государств имеют (так он утверждает) эпохальное значение для понимания общих законов возникновения государств. Если бы построение Брайзига действительно устанавливало «типичное» становление государства и являло собой «новое» знание, перед нами встала бы задача создать определенные понятия, которые, даже независимо от их познавательной ценности для учения о государстве, могли бы быть использованы – по крайней мере в качестве эвристического средства – при каузальном истолковании других исторических процессов; иными словами, в качестве реального основания обнаруженный Брайзигом процесс не имеет никакого значения, в качестве же возможного основания познания данные этого анализа (по Брайзигу) очень важны. Напротив, знание решений, принятых фемистоклом, не имеет никакого значения, например, для «психологии» или любой другой науки, образующей понятия; то обстоятельство, что в данной ситуации государственный деятель «мог» принять подобное решение, понятно

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org нам и без обращения к «наукам, устанавливающим законы», а то, что мы это понимаем, служит, правда, предпосылкой познания конкретной каузальной связи, но отнюдь не обогащает наше знание родовых понятий.

Приведем пример из сферы «природы». Конкретные X-лучи, вспыхнувшие на экране Рентгена, произвели определенное конкретное воздействие и, согласно закону сохранения энергии, быть может, еще и по сей день продолжают оказывать воздействие где-то в космических далях. Однако конкретные лучи, обнаруженные в лаборатории Рентгена, «значимы» не в качестве реальной причины космических процессов. Это явление – как и вообще любой «эксперимент» – принимается во внимание только в качестве основы для познания определенных «законов» происходящего{18}. Совершенно так же, конечно, обстоит дело и в случаях, приведенных Э. Майером в примечании, в том месте его работы, которое мы здесь критиковали [прим. 2, с. 37]. Он напоминает о том, что «самые незначительные люди, о которых мы случайно узнаем (в надписях или грамотах), вызывают интерес историка тем, что благодаря им мы знакомимся с условиями жизни в прошлом». Еще яснее проступает такое смешение, когда Брайзиг (если мне не изменяет память) полагает (страницу я в данный момент точно указать не могу), будто тот факт, что при отборе материала историк руководствуется «значимостью», «важностью» индивидуального, может быть устранен указанием на то, что исследование «черепков» и т. п. подчас позволяло достигнуть важнейших результатов. Аргументы такого рода очень «популярны» в наши дни, их близость к «сюртукам» Фридриха Вильгельма IV и «самым незначительным людям» из надписей Э. Майера очевидна. Но очевидно и смешение понятий, которое здесь имеет место. Ибо, как было сказано, ни «черепки» Брайзига, ни «незначительные люди» Э. Майера, так же как конкретные X-лучи в лаборатории Рентгена, не могут войти в качестве каузального звена в историческую связь; однако определенные их свойства служат средством познания ряда исторических фактов, которые в свою очередь могут иметь большое значение как для «образования понятий», следовательно, вновь в качестве средства познания, например родового «характера» определенных «эпох» в искусстве, так и для каузального толкования конкретных исторических связей. Противопоставление в рамках логического применения фактов культурной действительности{19}: 1) образование понятий с помощью «экземплификации» «единичного факта» в качестве «типического» представителя абстрактного понятия, то есть как средство познания; 2) введение «единичного факта» в качестве звена, то есть реальной причины, в реальную, следовательно, конкретную связь с применением также (среди прочего) и результатов образования понятий (с одной стороны, в качестве эвристического средства, с другой – как средство изображения), – это и есть противопоставление метода «номотетических» наук (по Виндельбанду) или «естественных наук» по (Риккерту) логической цели «исторических наук», «наук о культуре». В нем содержится также единственное основание для того, чтобы называть историю «наукой о действительности». Для истории только это и может подразумеваться в таком определении – индивидуальные единичные компоненты действительности суть не только средство познания, но и его объект, а конкретные каузальные связи принимаются во внимание не как средство познания, а как реальное основание. Впрочем, в дальнейшем мы еще увидим, насколько далеко от истины распространенное наивное представление, будто история является «простым» описанием пред-найденной действительности или только изложением «фактов»{20}.

Так же как с «черепками» и сохранившимися в надписях упоминаниями о «незначительных личностях», обстоит дело и с портными у Риккерта, которых подвергает критике Э. Майер. Для каузальной связи в области истории культуры, в вопросе о развитии «моды» и «портняжного дела» тот факт, что определенный портной поставлял королю определенные сюртуки, едва ли имеет какое-либо значение. Данный факт мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы именно из этого конкретного явления возникли какие-либо исторические последствия, если бы, например, именно эти портные, судьба именно их ремесла оказались под каким-либо углом зрения «значительным» каузальным фактором в преобразовании моды или в организации портняжного ремесла и если бы это историческое значение было каузально обусловлено также и поставкой именно этих сюртуков. Напротив, в качестве средства познания для знакомства с модой и т. п. покрой сюртуков Фридриха Вильгельма IV и тот факт, что они поставлялись определенными (например, берлинскими) мастерскими, безусловно, может иметь такое же «значение», как любой другой доступный нам материал, необходимый для установления моды того времени. Однако сюртуки короля служат здесь лишь частным случаем разрабатываемого родового понятия, лишь средством познания. Что же касается отказа от

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org имперской короны, о котором шла речь у Майера, то это – конкретное звено исторической связи, оно отражает реальное взаимоотношение следствия и причины внутри определенных реальных сменяющих друг друга рядов. Логически это – непреодолимое различие, и таковым оно будет вечно. Пусть даже эти *toto coelo*[21] отличающиеся друг от друга точки зрения самым причудливым образом переплетаются в практике исследователя культуры (что, безусловно, случается и служит источником интереснейших методических проблем), логическая природа «истории» никогда не будет понятна тем, кто не различает их самым решительным образом.

По вопросу о взаимоотношении двух различных по своей логической природе категорий «исторической значимости» Э. Майер высказал две точки зрения, которые не могут быть объединены. В одном случае он, как мы уже видели, смешивает «исторический интерес» по отношению к тому, что «оказывает историческое воздействие», то есть интерес к реальным звеньям исторических каузальных связей (отказ от имперской короны), с такими фактами, которые могут быть полезны историку в качестве средства познания (сюртуки Фридриха Вильгельма IV, надписи и пр.). В другом случае – и на этом мы считаем нужным остановиться – противоположность того, что «оказывает историческое воздействие», и всех остальных объектов нашего фактического или возможного знания достигает у него столь высокой степени, что применение в его собственном классическом труде предложенного им ограничения научных «интересов» историка очень огорчило бы всех его друзей. Так, на с. 48 Э. Майер пишет: «Долгое время я полагаю, что в выборе, совершаемом историком, решающим является характерное (то есть специфически единичное, которое отличает данный институт, данную индивидуальность от всех других аналогичных им). Это безусловно верно: однако для истории оно имеет значение лишь постольку, поскольку мы способны... воспринимать своеобразие культуры лишь в ее характерных чертах. Таким образом, «характерность» всегда не более чем. средство, позволяющее нам понять степень исторического воздействия культуры». Совершенно верное предположение, как явствует из всего предшествовавшего; правильны и все выведенные из него следствия: тот факт, что вопрос о «значении» в истории индивидуального и роли личности в истории обычно ставится неверно; что «личность» вступает в историческую связь, конструируемую историей, отнюдь не в своей целостности, а только в своих каузально релевантных проявлениях; что историческая значимость конкретной личности в качестве каузального фактора и ее «общечеловеческая» значимость, связанная с ее внутренней ценностью, не имеют ничего общего; что именно «недостатки» человека, занимающего решающую позицию, могут оказаться значимыми в каузальном отношении. Все это правильно. И тем не менее остается еще ответить на вопрос, верно ли, или, скажем, пожалуй, так – в каком смысле верно, что анализ содержания культуры (с точки зрения истории) преследует только одну цель: сделать понятными рассматриваемые культурные процессы в оказываемом ими воздействии? Логическое значение данного вопроса сразу же открывается, как только мы переходим к рассмотрению выводов, которые Э. Майер делает из своего тезиса. Прежде всего он [на с. 48] умозаключает, что «существующие условия сами по себе никогда не являются объектами истории и становятся таковыми лишь постольку, поскольку они оказывают историческое воздействие». «Всесторонний» анализ произведения искусства, продукта литературной деятельности, институтов государственного права, нравов и т. д. в рамках исторического изложения (в том числе в истории литературы и искусства) якобы невозможен и неуместен, так как в этом случае постоянно приходилось бы охватывать этим анализом и такие компоненты исследуемого объекта, которые «не оказали никакого исторического воздействия»; вместе с тем историку приходится включать в свое изложение «определенной системы» (например, государственного права) множество «как будто второстепенных деталей» из-за их каузального значения. Основываясь на этом принципе отбора, Э. Майер делает, в частности, вывод [на с. 55], что биография относится к области «филологии», а не истории. Почему? «Объект биографии», продолжает Э. Майер, составляет определенная личность сама по себе в ее целостности, а не как фактор, оказывающий историческое воздействие, – то, что она таковой была, являет собой лишь предпосылку, причину того, что ей посвящена биография. До той поры, пока биография остается биографией, а не историей времени ее героя, она якобы не может выполнять задачу истории – изобразить историческое событие. Однако невольно возникает вопрос: почему же «личность» занимает особое место в историческом исследовании? Разве этикие «события», как битва при Марафоне или персидские войны, трактуются в исторической работе в своей «целостности», *specimena fortitudinis*[22], описанными Гомером? Очевидно, что и здесь отбираются лишь те события и условия, которые имеют решающее значение для установления исторических каузальных связей. С той поры как

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org мифы о героях и история отделились друг от друга, отбор происходит именно так, по крайней мере [1]о своему логическому принципу. Как же обстоит дело с «биографией»? Совершенно неверно (если это не гипербола), что «все детали внешней и внутренней жизни героя входят в его биографию, хотя такое впечатление и может сложиться от филологических работ, посвященных жизни Гёте, которые, вероятно, и имеет в виду Э. Майер. Но ведь в них просто собирается материал для того, чтобы сохранить все, что может иметь какое-либо значение для биографии Гёте, будь то в виде прямого компонента каузального ряда, следовательно, в качестве исторически релевантного «факта» или в виде средства познания исторически релевантных фактов, в качестве «источника». Совершенно очевидно, однако, что в научной биографии Гёте должны быть использованы в качестве компонентов изложения лишь такие факты, которые обладают «значимостью».

Здесь мы наталкиваемся на двойственность этого слова в логическом смысле, которую необходимо подвергнуть анализу; она, как мы увидим, прольет свет на «истину» в воззрении Э. Майера, но также и на недостатки в формулировке его теории, гласящей, что объектом истории является то, что «оказывает историческое воздействие».

Для иллюстрации различных логических точек зрения, с которых те или иные «факты» культурной жизни могут иметь научное значение, приведем в качестве примера письма Гёте к Шарлотте фон Штейн. Совершенно очевидно, что «историческое» значение этих писем заключено не в непосредственном воспринимаемом нами «факте», не в исписанной бумаге, что это, без сомнения, служит лишь средством познания другого «факта», а именно что Гёте испытывал высказанные здесь чувства, писал о них, адресовал их Шарлотте фон Штейн и получал от нее ответные письма, приблизительное содержание которых можно определить на основании правильного понимания писем Гёте. Это тот факт, который должен быть открыт эвентуально предпринятым с помощью «научных» вспомогательных средств «толкованием» «смысла» писем Гёте; в действительности же «факт», который мы имеем в виду, говоря об этих письмах, может в свою очередь быть использован различным образом:

1. Он может быть непосредственно вставлен в историческую причинную связь: аскетизм тех лет, связанный с невероятной по своей силе страстностью, безусловно, должен был оставить значительный след в жизни Гёте – он не исчез даже под южным небом Италии. Определить воздействие его на «литературный образ» Гёте, обнаружить его следы в творчестве Гёте и по мере возможности каузально «истолковать» их в связи с переживаниями тех лет, вне всякого сомнения, относится к задачам истории литературы. Факты, засвидетельствованные этими письмами, выступают здесь в качестве «исторических» фактов, то есть, как мы видим, в качестве реальных звеньев каузального ряда.

2. Предположим, однако (вероятность такого предположения как в данном, так и в последующих случаях не имеет, конечно, решительно никакого значения), будто тем или иным способом удалось установить, что упомянутые переживания не оказали никакого влияния на развитие Гёте как человека и как поэта, другими словами что они не имели никакого влияния на «интересующие» нас стороны его жизни. Тогда эти события все-таки могут привлечь наш интерес в качестве средств познания, могут отразить «характерные» (как принято говорить) черты для понимания исторического своеобразия Гёте. Другими словами, с их помощью нам, быть может, удалось бы (реальности такой попытки мы здесь не касаемся) проникнуть в образ жизни и в мировоззрение Гёте в течение долгого или, во всяком случае, достаточно продолжительного периода, которые в значительной степени повлияли на исторически интересующие нас обстоятельства его жизни и литературной деятельности. Тогда «историческим» фактом, который мы включили бы в каузальную связь его «жизни» в качестве реального звена, было бы «мировоззрение», то есть собирательное понятие, отражающее связь личных «качеств» Гёте, унаследованных и приобретенных под воздействием воспитания, среды и жизненных судеб и сознательно усвоенных (может быть) «максим», в соответствии с которыми он жил и которые вместе с другими факторами обусловили его поведение и творчество. В этом случае его отношения с Шарлоттой фон Штейн были бы тоже реальными компонентами «исторического» материала, поскольку это «мировоззрение» являет собой собирательное понятие, которое «находит свое выражение» в отдельных жизненных событиях; однако нас бы они интересовали – при оговоренных выше предпосылках – прежде всего не в качестве таковых, но в качестве «симптомов» определенного мировоззрения, следовательно, в качестве средств познания. В их логическом отношении к объекту познания произошел,

3. Предположим далее, что и это не соответствует истине: в переживаниях Гёте не было ничего, что можно было бы считать характерным именно для него в отличие от его современников, что они вполне соответствовали «типичному» образу жизни определенных кругов Германии того времени. Тогда эти факты не дали бы нам ничего нового для понимания исторического значения Гёте. Однако при известных обстоятельствах они могли бы возбудить наш интерес в качестве легко используемой парадигмы определенного «типа», как средство познания «характерного» своеобразия духовного облика представителей упомянутых кругов. Своеобразие этого «типичного» для тех кругов и того времени (по нашему представлению) облика, а также форма выражения этого образа жизни в противоположность образу жизни других времен, народов и социальных слоев были бы в этом случае «историческим» фактом, который вошел бы в культурно-исторический каузальный ряд в качестве категорий реальной причины и действия и в отличие от типа, например, итальянского чичисбея и т. д., мог бы быть каузально «истолкован» в рамках «истории немецких нравов» или – при отсутствии подобного рода национальных различий – в рамках общей истории нравов того времени.

4. Допустим, что содержание писем Гёте нельзя использовать и для подобной цели, так как оказалось, что в известных условиях культурного развития постоянно возникают явления одного типа (совпадающие в ряде «существенных» пунктов), что, следовательно, в этих пунктах названные события жизни Гёте не отражают ни своеобразия немецкой культуры, ни своеобразия европейской культуры XVIII в., а являют собой лишь общий для всех культур феномен, возникающий в известных, требующих своего понятийного определения условиях. Тогда эти компоненты превратились бы в объект «культурной психологии» или «социальной психологии», задачей которой было бы установить с помощью анализа, изолирующей абстракции и генерализации, в каких условиях такие явления обычно возникают, «истолковать», по какой причине они регулярно повторяются, и сформулировать полученное «правило» в виде генетического родового понятия. В этом случае такие родовые по своему типу компоненты переживаний Гёте, совершенно irrelevantные для понимания его своеобразия, представляли бы интерес только как средство образования родового понятия такого типа.

5. И наконец, следует a priori считать возможным, что упомянутые «переживания» вообще не содержат никаких характерных черт какого-либо слоя населения или какой-либо культуры. Тогда даже при полном отсутствии к ним интереса со стороны «науки о культуре» можно было бы представить себе (здесь также совершенно безразлично, соответствует ли это истине), что психиатр, занимающийся психологией эротики, использовал бы такие данные с различных точек зрения, полезных в качестве идеально-типичного примера определенных аскетических «отклонений», – совершенно так же, как, например, для невропатолога безусловный интерес представляет «Исповедь» Руссо. При этом, конечно, надлежит допустить возможность того, что рассматриваемые письма окажутся интересными для достижения всех перечисленных здесь целей научного познания (конечно, ни в коей мере не исчерпывающих все «возможности») различными компонентами своего содержания или одними и теми же компонентами для достижения различных целей познания{23}.

Бросая ретроспективный взгляд на письма Гёте к Шарлотте фон Штейн, можно прийти к выводу, что мы выявили их «значение», то есть содержащиеся в них высказывания и переживания Гёте, следующим образом (если идти от последнего случая к первому): а) в двух последних случаях (4-м и 5-м) эти письма могут служить примером явлений определенного рода и поэтому средством познания их универсальной сущности; б) во 2-м и 3-м случаях они являются «характерной» составной частью собирательного понятия и поэтому средством познания индивидуального своеобразия{24} Гёте; в) в 1-м случае – каузальным компонентом исторической связи. В случаях, объединенных пунктом «а» (4-м и 5-м), «значение» для истории состоит лишь в том, что полученное с помощью подобного единичного примера родовое понятие при известных обстоятельствах (об этом ниже) может играть важную роль в контроле изображения исторических событий. Однако если Э. Майер ограничивает область «исторического» тем, что «оказывает воздействие» (то есть № 1 или пунктом «в» предшествующего деления), то ведь невозможно допустить, что он тем самым предполагает исключить вторую категорию (пункт «б») из сферы исторической «значимости». Это означало бы, что «факты», которые сами по себе не являются звеньями исторического причинного ряда, а служат только выявлению фактов, необходимых в качестве компонентов таких причинных рядов, – например, те

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org компоненты гётевской корреспонденции, которые «иллюстрируют», то есть делают доступными познанию, основные черты «своеобразия» литературной продукции Гёте или существенные для развития нравов стороны общественной культуры XVIII в., – что эти факты могут быть не приняты во внимание если не в «истории жизни» Гёте (в №2), то во всяком случае в «истории нравов» XVIII в. (в №3). Между тем сам он постоянно использует в своих трудах такого рода познавательные средства. Следовательно, здесь может предполагаться только то, что речь идет о «средствах познания», а не о «компонентах исторической связи»; однако и в «биографии», и в «изучении древнего мира» подобные «характерные» детали именно так и используются. Не в этом, следовательно, камень преткновения для Э. Майера.

Над всеми анализированными нами выше типами «значимости» возвышается еще один, причем самый важный, а именно: переживания Гёте (мы используем прежний пример) «значимы» для нас не только в качестве причины или «средства познания». Совершенно независимо от того, узнаем ли мы благодаря им нечто новое, ранее нам неизвестное для понимания мировоззрения Гёте или культуры XVIII в., нечто «типичное» для эволюции этой культуры, совершенно независимо также от того, оказали ли переживания Гёте какое-либо каузальное влияние на его развитие, – содержание этих писем как таковое, без оглядки на какие-либо находящиеся вне их, не заключенные в них самих «значения», являет собой для нас в своем своеобразии объект оценки и осталось бы таковым, если бы об их авторе вообще ничего больше не было известно. Нам здесь прежде всего интересует то обстоятельство, что такая «оценка» связана с неповторимым своеобразием, с несравненным литературным достоинством объекта; далее, наша оценка объекта в его индивидуальном своеобразии – и это второе – становится причиной того, что он превращается для нас в предмет размышлений и мыслительной (мы намеренно отказываемся здесь от определения «научной») обработки, в предмет интерпретации. Такая «интерпретация» или, как мы предпочитаем ее называть, «толкование» может идти в двух, фактически почти всегда сливающихся, но требующих строгого логического размежевания направлениях. Она может быть (и узнала, вероятно, будет) «ценностной интерпретацией», следовательно, она научит нас «понимать» «духовное» содержание этой корреспонденции, то есть раскроет перед нами то, что мы смутно и неопределенно «ощущаем», и озарит его светом отчетливо сформулированной «оценки». Для этой цели совершенно не нужно выносить какое-либо оценочное суждение или «внушать» его. Проведенный таким образом анализ действительно «внушает» нам понимание того, что существуют различные возможности ценностного соотношения объекта. Наше «отношение» к соотносённому с ценностью объекту совсем не должно быть положительным. Ведь современный обыватель с его ходячими представлениями о сексе или моралист католического толка, безусловно, осудит отношение Гёте к Шарлотте фон Штейн, если он вообще снизойдет до понимания этой проблемы. И если мы мысленно последовательно представим себе в качестве объектов интерпретации «Капитал» Карла Маркса, «Фауста» Гёте, потолок Сикстинской капеллы, «Исповедь» Руссо, переживания св. Терезы, госпожу Ролан, Толстого, Рабле, Марию Башкирцеву или Нагорную проповедь, то возникнет бесконечное многообразие «оценочных» позиций; интерпретация же этих столь различных по своей ценности объектов, если ее вообще предпримут, сочтя «достойной внимания» (что мы здесь для нашей цели допускаем), будет обладать лишь одним общим формальным элементом: смысл ее во всех перечисленных случаях будет состоять в том, чтобы открыть нам возможные «точки зрения» и «направленность оценок». Вынудить нас принять определенную оценку в качестве единственно «научно» допустимой подобная интерпретация может только там, где, как в «Капитале» Маркса, речь идет о нормах (в данном случае о нормах мышления). Однако и в этом случае объективно значимая «оценка» объекта (здесь, следовательно, логическая «правильность» Марксовых норм мышления) совсем не обязательно является целью интерпретации, а уж там, где речь идет не о «нормах», а о «культурных ценностях», «такая оценка», безусловно, является задачей, выходящей за пределы интерпретации. Можно, не совершая никакой логической или фактической ошибки – а здесь важно только это, – отвергнуть в качестве «незначимых» для себя все продукты литературной и художественной культуры древнего мира или, например, религиозное настроение Нагорной проповеди с таким же правом, как то соединение жгучей страсти и аскетизма со всеми тончайшими для нас соцветиями внутренней жизни и настроения, которые содержатся в нашем примере – в письмах Гёте к Шарлотте фон Штейн. Однако нельзя полагать, что такая «интерпретация» не будет иметь ценности для самого интерпретатора; она может, несмотря на отрицательное суждение об объекте – или даже именно поэтому, – содержать и для него «познание» в том смысле, что углубит, как принято говорить, его внутреннюю «жизнь», расширит его «духовный горизонт»,

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org разовьет в нем способность постигать и продумывать возможности и нюансы жизненного стиля, дифференцируя, повысить свой интеллектуальный, эстетический и этический (в самом широком смысле слова) уровень, сделает его «душу» как бы более открытой к «восприятию ценностей». «Интерпретация» духовного, эстетического или этического про-изведения оказывает такое же воздействие, как само произведение. Именно в этом коренится «справедливое утверждение», что «история» – в определенном смысле «искусство», но в такой же степени и определение «наук о духе» как «субъективных наук». Тем самым достигнута последняя граница того, что еще может быть определено как «мыслительная обработка эмпирических данных», и в логическом смысле здесь, собственно говоря, уже не идет речь об «историческом исследовании».

Ясно, что Э. Майер, говоря [на с. 55] о том, что он называет «филологическим рассмотрением прошлого», имеет в виду именно такую интерпретацию, которая исходит из вневременных по своей сущности отношений «исторических» объектов, из их ценностной значимости, и учит «понимать» их. Это явствует из его дефиниции такого рода научной деятельности [с. 551, которая, по его мнению, «переносит продукты истории в современность и рассматривает их под этим углом зрения», рассматривает объект «не в его становлении и историческом воздействии, а в качестве сущего», и поэтому в отличие от исторического исследования «всесторонне» ставит перед собой цель «исчерпывающей интерпретации отдельных произведений, в первую очередь литературы и искусства, но также, – продолжает Э. Майер, – государственных и религиозных институтов, нравов и воззрений и, наконец, всей культуры эпохи, рассматриваемой как некое единство». Нет, конечно, никакого сомнения в том, что подобное «толкование» отнюдь не является «филологическим» в специальном лингвистическом смысле. Толкование языкового «смысла» литературного объекта и толкование его «духовного содержания», его «смысла» в этом ориентированном на ценность значении слова, пусть даже фактически они часто – и с достаточным основанием – связываются, логически являя собой различные в корне акты. В одном случае -- при лингвистическом «толковании» – это (не по ценности и интенсивности духовной деятельности, но по своему логическому содержанию) элементарная предварительная работа для всех видов научной обработки и научного использования «материала источников». С точки зрения историка, это техническое средство, необходимое для верификации «фактов», орудие исторической науки (а также и многих других дисциплин). «Истолкование» в смысле «ценностного анализа» – так мы позволили себе назвать *ad hoc*[25] описанный выше процесс[26] – находится к истории, во всяком случае, не в таком отношении. Поскольку же это «истолкование» направлено не на выявление «каузально» релевантных для исторической связи фактов, не на абстрагирование «типичных», используемых для образования родового понятия компонентов, так как такое толкование, напротив, рассматривает свои объекты (например, возвращаясь к примеру Э. Майера, «всю культуру» Эллады в период ее расцвета, воспринятую в ее единстве) «как таковые» и делает их понятными в их отношении к ценности, то оно не может быть подведено ни под одну из других категорий познания, которые рассматривались выше в аспекте своих прямых или косвенных связей с «историческим». Однако данный тип толкования (ценностный анализ) нельзя относить и к области «вспомогательных» исторических наук (к которым Э. Майер на с. 54 относит «филологию»), так как объекты здесь рассматриваются под совсем другим, чем в истории, углом зрения. Если бы противоположность этих толкований можно было свести к тому, что в одном случае (в ценностном анализе) объекты рассматриваются в их «состоянии», в другом (в исторической науке) – в их «развитии», что одно толкование дает поперечное, другое – продольное сечение событий, тогда значение этой противоположности было бы, конечно, ничтожным. Ведь историк, в том числе и сам Э. Майер, приступая к исследованию, всегда начинает с определенных «данных» отправных точек, которые он описывает в их «статическом состоянии», и в ходе всего своего изложения на каждом его этапе подводит итог «результатам» «развития» в виде их состояния в поперечном сечении. Такое монографическое исследование, как, например, исследование социальной структуры Афинской еkkлeсии на определенной стадии ее развития, в котором ставится цель пояснить, с одной стороны, ее обусловленность определенными историческими причинами, с другой – ее воз-действие на политическое «состояние» Афин, и Э. Майер, безусловно, сочтет «историческим». Отличие, которое имеет в виду Майер, заключается, по-видимому в том, что в «филологическом», производящем ценностный анализ исследовании могут быть приняты и обычно принимаются во внимание также релевантные для «истории» факты, но наряду с ними и совершенно другие, такие, следовательно, которые сами по себе не являются звеньями исторического причинного ряда и не могут быть использованы в качестве средства познания этих звеньев, то есть вообще не находятся ни в одном из

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org рассмотренных выше отношений к сфере «исторического». Но тогда в каком же? Или подобный «ценностный анализ» вообще стоит вне каких бы то ни было связей с историческим познанием? Чтобы выйти из этого тупика, вернемся к нашему прежнему примеру – к письмам Гёте к Шарлотте фон Штейн, а в качестве второго примера возьмем «Капитал» К. Маркса. Совершенно очевидно, что оба эти объекта могут быть предметом «интерпретации» не только в «лингвистическом» аспекте (что нас здесь не интересует), но и в аспекте «ценностного анализа», то есть анализа, «поясняющего» нам отнесение их к ценности. В одном случае будут, следовательно, «психологически» интерпретированы письма Гёте к Шарлотте фон Штейн так, как интерпретируют, например, «Фауста», в другом – будет исследовано идейное содержание «Капитала» К. Маркса и идейное – не историческое – отношение данного труда к другим систе-мам идей, посвященным тем же проблемам. Для этого «ценностного анализа» рассматривает свои объекты прежде всего в «их состоянии», по терминологии Э. Майера, то есть в более правильной формулировке, исходит из их ценности, независимой от какого бы то ни было чисто исторического, каузального значения, находящегося, следовательно, за пределами исторического. Однако разве на этом ценностный анализ останавливается? Конечно, нет, идет ли речь об интерпретации писем Гёте, «Капитала», «Фауста», «Орестеи» или фресок Сикстинской капеллы. Для того чтобы ценностный анализ полностью достиг своей цели, необходимо помнить о том, что объект этой идеальной ценности исторически обусловлен, что множество нюансов и выражений мысли и чувства окажутся непонятными, если нам неизвестны общие условия – в одном случае «общественная среда» и конкретные события тех дней, когда были написаны письма Гёте, в другом – «состояние проблемы» в тот исторический период, когда Маркс писал свою книгу, и его эволюция как мыслителя. Таким образом, для успешного «толкования» писем Гёте необходимо историческое исследование условий, в которых они были написаны, как всех мельчайших, так и самых важных связей в чисто личной, «домашней» жизни Гёте и в культурной жизни всего тогдашнего «общества», «среды» в самом широком смысле этого слова – всего того, что имело каузальное значение для своеобразия писем Гёте, «оказывало на них воздействие», по определению Э. Майера. Ибо значение всех этих каузальных условий позволяет нам увидеть те душевные конstellляции, из которых вышли письма Гёте, и тем самым действительно «понять» их{27}. Вместе с тем, однако, совершенно очевидно, что одно каузальное объяснение, изолированное от других факторов и примененное а la Дюнцер, здесь, как и повсюду, приведут лишь к частичным результатам. Само собой разумеется, что тот тип «толкования», который мы определили, как «ценностный анализ», указывает путь другому, «историческому», то есть каузальному «толкованию». Первый выявил «ценностные» компоненты объекта, каузальное «объяснение» которых составляет задачу «исторического» толкования: он наметил «отправные точки», от которых регрессивно шел каузальный процесс, снабдив его тем самым решающими критериями, без которых его можно было бы уподобить плаванию без компаса по безбрежному морю. Можно, конечно, считать нецелесообразным (и многие сочтут это таковым), что здесь аппарат исторического исследования используется для исторического «объяснения» ряда «любовных писем», какими бы возвышенными они ни были. Пусть так, но ведь то же самое можно сказать, как это пренебрежительно ни звучит, и о «Капитале» К. Маркса и вообще обо всех объектах исторического исследования, Знание того, из каких элементов К. Маркс создал свой труд, как генезис его идей был обусловлен исторически, и вообще всякое историческое знание о соотношении политических сил современности или о становлении немецкого государства в его своеобразии может показаться кому-нибудь весьма скучным и пустым или, во всяком случае, второстепенным, интересным только тому, кто непосредственно занимается этим бессмысленным делом. Ни логика, ни научный опыт «опровергнуть» такое мнение не могут, как со всей очевидностью, хотя и в несколько краткой формулировке, признал сам Э. Майер.

Для нашей цели полезно несколько задержаться на логической сущности «ценностного анализа». В ряде случаев очень ясно сформулированную мысль Риккерта, согласно которой образование «исторического индивидуума» обусловлено его «соотнесением с ценностью», со всей серьезностью понимали так, будто это «соотнесение с ценностью» идентично подведению под универсальные понятия (а некоторые пытались таким образом опровергнуть ее){28}. Ведь «государство», «религия», «искусство» и другие подобные им «понятия» составляют те ценности, о которых идет речь, а то обстоятельство, что история «соотносит» с ними свои объекты и обретает тем самым специфические «точки зрения», ничем не отличается (это добавляют обычно) от отдельного рассмотрения «химической», «физической» и других сторон процессов, изучаемых естественными науками{29}. Мы сталкиваемся здесь с

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org поразительным непониманием того, как следует – и как только и можно – толковать «соотнесение с ценностью». Актуальное «ценностное суждение» о конкретном объекте или теоретическое построение «возможных» его соотнесений с ценностью отнюдь не означает, что этот объект подводится под определенное родовое понятие – «любовное письмо», «политическое образование», «экономическое явление». «Ценностное суждение» означает, что, вынося его, я занимаю по отношению к данному объекту в его конкретном своеобразии определенную конкретную «позицию»; что же касается субъективных источников моей позиции, моих решающих «ценностных точек зрения», то это уж совсем не «понятие», тем более не «абстрактное понятие», а вполне конкретное, в высшей степени индивидуальное по своей природе, сложное «ощущение» и «воление» или, в известных условиях, сознание определенного, также вполне конкретного «должностования». И если я перехожу от стадии актуальной оценки объектов к стадии теоретико-интерпретативного размышления о возможных отнесениях их к ценности, то есть преобразую данные объекты в «исторические индивидуумы», то это означает, что я, интерпретируя, довожу до своего сознания и до сознания других людей конкретную индивидуальную и поэтому в конечном счете неповторимую форму, в которой (воспользуемся здесь метафизическим оборотом) «вплотились» или отразились «идеи» данного политического образования (например, «государства Фридриха Великого»), данной личности (например, Гёте и Бисмарка), данного научного произведения («Капитала» Маркса). Отказываясь же от всегда вызывающей сомнение метафизической терминологии, без которой здесь к тому же вполне можно обойтись, сформулируем это следующим образом: я отчетливо выявляю те точки данного сегмента действительности, которые допускают по отношению к нему возможные «оценивающие» позиции и оправдывают его претензии на более или менее универсальное «значение» (в корне отличное от каузального). «Капитал» Маркса объединяет со всеми другими комбинациями типографской краски и бумаги, которые еженедельно включаются в брокгаузовский перечень, то, что он является «литературной продукцией»; однако «историческим индивидуумом» его делает не эта принадлежность к определенному роду объектов, а нечто прямо противоположное – то совершенно неповторимое «духовное содержание», которое «мы» в нем обнаруживаем. Далее, «политический характер» присущ как болтовне филистера за вечерней кружкой пива, так и тому комплексу отпечатанных или исписанных страниц, звуковых сигналов, маршировке на учебном плацу, разумным или нелепым идеям, возникающим в головах князей, дипломатов, и др., – все то, что «мы» объединяем в индивидуальный мысленный образ «Германской империи», поскольку «мы» испытываем к нему определенный, для «нас» неповторимый, коренящийся в множестве «ценностей» (не только «политических») «исторический интерес». Полагать, что подобное «значение», то есть наличие в объекте, например; в «Фаусте», возможных отнесений к ценности, или, другими словами, «содержание» нашего интереса к «историческому индивидууму», может быть выражено родовым понятием, – явная бессмыслица: именно неисчерпаемость в «содержании» объекта возможных точек приложения нашего интереса характерна для «исторического индивидуума» «высшего» ранга. Тот факт, что мы классифицируем определенные «важные» направления исторического отнесения к ценности и что эта классификация служит затем основой разделения труда между науками о культуре {30}, ничего, конечно, не меняет в том, что мысль, будто ценность «общего (универсального) значения» являет собой «общее» понятие, столь же странна, как и мнение, будто «истина» может быть высказана в одной фразе, «нравственность» воплощена в одном действии или «красота» выражена в одном произведении искусства. Вернемся, однако, к Э. Майеру и к его попыткам решить проблему исторического «значения». Ведь в наших последних высказываниях мы вышли за пределы методологии и затронули вопросы философии истории. Для чисто методологического исследования тот факт, что известные индивидуальные компоненты действительности избираются объектом исторического рассмотрения, обосновывается просто указанием на фактическое наличие соответствующего интереса, для подобного рассмотрения, не ставящего вопрос о смысле интереса, «соотнесение с ценностью» никакого другого значения иметь не может. Э. Майер на этом и успокаивается, справедливо полагая с этой точки зрения, что для исторического исследования достаточно наличие такого интереса, как бы к нему ни относиться. Однако ряд неясностей и противоречий в его концепции довольно отчетливо свидетельствует о том, каковы последствия недостаточной ориентации на философию истории.

«Выбор» (в исторической науке) покоится на «историческом интересе, который настоящее испытывает к какому-либо действию или результату развития, вследствие чего оно ощущает потребность выявить причины, обусловившие эти явления», – пишет Э. Майер [с. 37] и затем поясняет данное положение таким образом: историк создает «из глубин своего духа проблемы, с которыми он

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org подступает к материалу», и они служат ему «путеводной нитью для упорядочения событий» [с. 45]. Приведенное рассуждение Майера полностью совпадает со сказанным выше и сверх того являет собой единственно возможный смысл, в котором подвергнутое ранее нашей критике высказывание Э. Майера «о движении от следствия к причине» можно считать правильным. Речь здесь идет не о специфическом для истории применении понятия каузальности, как он полагает, а о том, что «исторически значимыми» являются только те причины, которые регрессивное движение, отправляющееся от «ценностного» компонента культуры, должно вобрать в себя в качестве своей необходимой составной части, что получило, правда, достаточно неопределенное название «принципа телеологической зависимости». Возникает вопрос: должен ли отправной пункт этого регрессивного движения всегда быть компонентом настоящего, о чем как будто свидетельствуют цитированные нами слова Э. Майера? Следует сказать, что Э. Майер не вполне определил свое отношение к данному вопросу. Уже из вышесказанного очевидно, что он не дает ясного определения того, что он, собственно говоря, понимает под «оказывающим историческое воздействие». Ибо, если – как ему уже указывали – к истории относится только то, что «оказывает воздействие», то кардинальный вопрос каждого исторического исследования, в том числе и его истории древнего мира, должен сводиться к тому, какое конечное состояние и какие его компоненты должны быть положены в основу в качестве «испытанных воздействием» исторического развития, которое в данном случае излагается, и, таким образом, необходимо решить, следует ли исключить в качестве исторически несущественного тот или иной факт, чье каузальное значение для какого-либо компонента конечного результата установить не удалось. Некоторые замечания Э. Майера на первый взгляд могут создать впечатление, что он действительно предлагает считать решающим фактором объективное «состояние культуры» (воспользуемся для краткости этим термином) в настоящее время. Другими словами, только те факты, чье воздействие еще теперь имеет значение для состояния наших современных политических, экономических, социальных, религиозных, этических и научных условий или для каких-либо иных компонентов нашей культуры, чье «воздействие» мы непосредственно ощущаем в настоящем [с. 37], могут быть отнесены к истории древнего мира совершенно независимо от того, имеет ли данный факт какое-либо, пусть даже фундаментальное, значение для своеобразия этой культуры [с. 48]. Труд Э. Майера сильно сократился бы в своем объеме – достаточно вспомнить о томе, посвященном истории Египта, – если бы его автор стал последовательно проводить указанный принцип, и многие не нашли бы в нем тогда именно того, чего они ждут от истории древнего мира. Но Э. Майер оставляет выход [с. 37]. «Мы можем, – пишет он, – обнаружить это (то есть оказывавшее историческое воздействие) и в прошлом, примысливая какой-либо момент этого прошлого в настоящем». Тем самым, конечно, любой компонент культуры может быть примыслен в историю древнего мира в качестве «оказывающего воздействие», если рассматривать его под тем или иным углом зрения. Однако тогда отпадает именно то ограничение, которое стремится ввести Э. Майер. К тому же все равно возник бы вопрос: «какой же момент является, например в «Историй древнего мира», масштабом для определения того, что существовало для историка? С точки зрения Э. Майера следовало бы ответить: «конец» античности, то есть тот срез, который представляется нам наиболее подходящим для «конечной точки». Следовательно, правление Ромула, Юстиниана или – пожалуй, лучше – Диоклетиана? В таком случае, правда, все характерное для этой эпохи конца, эпохи «одряхления» античности, без сомнения, вошло бы в полном объеме в исследование в качестве ее завершения, поскольку именно такая характеристика формировала объект исторического объяснения; затем – и прежде всего – в него вошли бы все те факты, которые были каузально существенны («воздействовали») именно для этого процесса «одряхления». Исключить же пришлось бы, например при описании греческой культуры, все то, что тогда (в правление Ромула или Диоклетиана) уже не оказывало «воздействия на культуру», а при тогдашнем состоянии литературы, философии, культуры в целом такое исключение составило бы подавляющую часть именно того, что вообще представляется нам «ценным» в истории древнего мира и что мы, к счастью, находим в собственном труде Э. Майера.

История древнего мира, в которой содержалось бы только то, что оказало каузальное воздействие на какую-либо последующую эпоху, была бы – особенно если рассматривать политические события как подлинный стержень истории – совершенно так же пуста, как «история» жизни Гёте, которая «медиатизировала» бы (по выражению Ранке) Гёте в пользу его эпигонов, то есть выявляла бы только те компоненты его своеобразия и его высказываний, которые продолжали «оказывать воздействие» на литературу. С этой точки зрения, научная «биография» принципиально ничем не отличается от иным

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org образом отграниченных исторических объектов. Тезис Э. Майера в данной им формулировке не может быть применен. Или, может быть, и здесь есть выход из противоречия между его теорией и его собственной практикой? Мы знаем, что историк, по мнению Э. Майера, создает свои проблемы в глубинах собственного духа; к данному замечанию добавлено следующее: «присутствие историка – это момент, который не может быть устранен ни из одной исторической работы». Не присутствует ли «воздействие факта», которое накладывает на него печать историчности, уже тогда, когда современный историк проявляет интерес к этому факту в его индивидуальном своеобразии, к его именно такому, а не иному становлению и способен тем самым заинтересовать своих читателей? Совершенно очевидно, что в рассуждениях Э. Майера [с. 36 в одном случае, с. 37 и 45 – в другом] переплелись два различных понятия «исторических фактов»: 1) такие компоненты действительности, которые, можно сказать, «сами по себе» в своем конкретном своеобразии «представляют для нас ценность» в качестве объектов нашего интереса, 2) такие, которые связаны с нашей потребностью понять те «представляющие для нас ценность» компоненты действительности в их исторической обусловленности как «причины» в ходе каузального регрессивного движения, как «оказывающие историческое воздействие» в понимании Э. Майера. Первые можно именовать «историческими индивидуумами», вторые – историческими (реальными) причинами и вслед за Риккертом разделять их в качестве «первичных» и «вторичных» исторических фактов. Строгое ограничение исторического изложения «историческими» причинами – «вторичными» фактами, по Риккерт, «воздействующими» фактами, по Э. Майеру, – возможно, конечно, только в том случае, если заранее твердо установлено, о каузальном объяснении какого «исторического индивидуума» только и будет идти речь.

Сколь бы широко ни были тогда поставлены границы такого первичного объекта – предположим, что в качестве такового будет взята вся «современная», то есть наша распространяющаяся из Европы христианская капиталистическая «культура» правового государства на данной стадии ее развития, следовательно, весь огромный узел «культурных ценностей», рассматриваемых в качестве таковых со всевозможных точек зрения, – «объясняющее» ее исторически каузальное регрессивное движение, даже если оно дойдет до средних веков или древнего мира, вынуждено будет – хотя бы частично – исключить огромное число каузально несущественных объектов, невзирая на то, что «сами по себе» они представляют собой громадный «ценностный» интерес для нас, следовательно, могут в свою очередь стать «историческими индивидуумами», которые послужат началом нового регрессивного движения. Надо, конечно, признать, что этот «исторический интерес» в силу своей специфики менее интенсивен потому, что не имеет каузального значения для универсальной истории культуры наших дней. Культура инков и ацтеков оставила весьма незначительные (сравнительно!) следы в истории, настолько незначительные, что при изучении генезиса современной культуры (в понимании Э. Майера) можно, вероятно, без всякого ущерба вообще не упоминать о них. Если дело обстоит таким образом – а именно это мы здесь предполагаем, – то все, что мы знаем о культуре инков и ацтеков, имеет значение прежде всего не как «исторический объект» и не как «историческая причина», а как «средство познания» для образования теоретических понятий в области наук о культуре: позитивно, например, для образования «феодализм» в качестве-своеобразной специфической его разновидности; негативно для того, чтобы отграничить те понятия, с которыми мы работаем в истории европейской культуры, от содержания этих гетерогенных им культур и тем самым с помощью сравнения отчетливее представить себе историческое своеобразие генезиса и развития европейской культуры. То же самое, без сомнения, следовало бы сказать и о тех компонентах античной культуры, которые Э. Майер должен был бы, если он хочет быть последовательным, исключить из истории древнего мира, ориентированного на современную культуру, поскольку они «не оказали исторического воздействия». Однако что касается инков и ацтеков, то, несмотря на все, нельзя ни логически, ни фактически исключить, что определенные феномены их культуры могут рассматриваться в своем своеобразии как «исторический индивидуум», то есть могут быть анализированы и «истолкованы» в их соотношениях с ценностью, в результате чего они станут предметом «исторического» исследования, и каузальное регрессивное движение будет выявлять факты их культурного развития, которые по отношению к данному объекту исследования станут «историческими причинами». И тот, кто, занимаясь историей древнего мира, сочтет, что в нее должны войти лишь те факты, которые «оказали каузальное воздействие» на нашу современную культуру, то есть релевантны для нас либо в своем «первичном» значении в качестве соотнесенных с ценностью «исторических индивидуумов», либо в своем «вторичном» каузальном значении в качестве причин (этих или каких-либо иных

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org («индивидуумов») – такой исследователь окажется жертвой самообмана. Круг культурных ценностей, важных для истории эллинской культуры, определяется нашим ориентированным на «ценности» интересом, а не только фактическим каузальным отношением нашей культуры к эллинской. Эпоха, которую мы – оценивая ее крайне «субъективно» – обычно считаем «вершиной» эллинской культуры (период между Эсхилом и Аристотелем), находит себе место в качестве «самодовлеющей ценности» в каждой «Истории древнего мира», в том числе и в работе Э. Майера; измениться это могло бы лишь в том случае, если наступит эпоха, столь же неспособная обрести непосредственное «ценностное отношение» к этим творениям культуры, как, например, к «песням» или к «мировоззрению» какого-либо племени Центральной Африки, которые возбуждают наш интерес только в качестве средства образования понятия или в качестве «причины». Таким образом, то, что мы, современные люди, вступаем в какие-либо ценностные отношения к индивидуальному «выражению» содержания античной культуры, является единственно возможным толкованием понятия Э. Майера, согласно которому «историческим» следует считать то, что «оказывает воздействие». О том, до какой степени собственное понимание Э. Майером того, что «оказывает воздействие», состоит из гетерогенных компонентов, свидетельствует уже его мотивировка специфического интереса, который история проявляет к культурным народам. «Это основано, – пишет он, – на том, что упомянутые народы и культуры оказывали наибольшее воздействие в прошлом и продолжают оказывать его в настоящем» [с. 47]. Мотивировка Майера, без сомнения, верна, но являет собой отнюдь не единственную причину нашего особенно сильного «интереса» к их значению в качестве исторических объектов: в частности, из такого объяснения нельзя сделать вывод (который делает Э. Майер), что специфический интерес тем глубже, «чем выше они (эти культурные народы) стоят». Ибо затронутая здесь проблема «самодовлеющей ценности» культуры не имеет ничего общего с ее историческим «воздействием». Все дело в том, что Э. Майер смешивает два понятия, а именно «ценность» и «каузальную значимость». Как ни верно утверждение, что каждая «история» пишется с позиции ценностных интересов настоящего и что, следовательно, настоящее, изучая материал истории, всегда ставит или, во всяком случае, может ставить, новые вопросы, так как его интерес, направляемый ценностными идеями, меняется, столь же верно, что этот интерес должным образом «оценивает» и превращает в «исторический индивидуум» компоненты культур «прошлого», то есть такие, к которым компоненты культуры настоящего времени в ходе каузального регрессивного движения не могут быть сведены. В небольшом масштабе сюда относятся письма Гёте к Шарлотте фон Штейн, в большом – те компоненты эллинской культуры, из сферы воздействия которых культура настоящего времени уже давно вышла. Впрочем, Э. Майер, не делая необходимых выводов, и сам, как мы видели, допускает это, утверждая [с. 47], что момент прошлого может быть «примыслен» (по его терминологии) к настоящему; правда, исходя из замечания на с. 55, «примысливание» дозволено только в области «филологии». В действительности он признает тем самым, что компоненты культуры «прошлого» являются историческими объектами, независимо от того, сохранили ли они ощущаемое нами теперь «воздействие», что, следовательно, в «Истории древнего мира» и «характерные» ценности древности могут служить мерилем отбора фактов и определять направление исторического исследования. Но это еще не все.

Если Э. Майер аргументирует, что настоящее не становится предметом «истории», поскольку мы не знаем и не можем знать, какие его компоненты окажутся «воздействующими» в будущем, – данное утверждение о (субъективной) неисторичности настоящего в каком-то, пусть ограниченном, смысле соответствует истине. Окончательное решение о каузальном значении фактов настоящего выносит будущее. Однако это не единственный аспект рассматриваемой проблемы, даже если отвлечься (что само собой разумеется) от таких внешних моментов, как недостаточное количество архивных источников и т. п. Действительное непосредственно ощущаемое настоящее еще не только не стало исторической «причиной», но не стало даже «историческим индивидуумом», совершенно так же, как не становится объектом эмпирического знания «переживание» в тот момент, когда оно происходит «во мне» или «в связи со мной». Любая историческая «оценка» включает в себя – мы позволим себе определить это таким образом – «созерцательный» момент; в ней содержится не только и не столько непосредственное оценочное суждение «занимающего определенную позицию субъекта»; ее существенное содержание составляет, как мы видели, «знание» о возможных «отнесениях к ценности», то есть она предполагает способность – хотя бы теоретически – изменять «точку зрения» по отношению к объекту. Обычно говорят, имея это в виду, что нам надлежит «объективно оценить» какое-либо событие, прежде чем оно в качестве объекта «войдет» в историю, но это именно ведь не означает, что оно может

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org оказать каузальное «воздействие». Мы не будем дальше развивать наши соображения об отношении «переживания» к «знанию» и надеемся, что все вышесказанное достаточно ясно показало не только то, что понятие у Э. Майера «исторического» как «оказывающего воздействие» недостаточно полно, но и то, чем это объясняется. В нем прежде всего нет логического разделения на «первичный» исторический объект, «отнесенный к ценности» культурный «индивидуум», с каузальным «объяснением» становления которого связан наш интерес, и «вторичные» исторические данные, то есть причины, к которым в ходе каузального регрессивного движения сводится «ценностное» своеобразие этого индивида. Принципиальная цель такого сведения – достичь «объективной» значимости в качестве эмпирической истины с такой же несомненностью, как в любом другом эмпирическом познании; и только в зависимости от полноты материала решается чисто фактический, а не логический вопрос, будет ли данная цель реализована, совершенно так же, как это происходит при объяснении конкретного явления природы. «Субъективно» в определенном смысле (к пояснению которого мы не будем здесь возвращаться) не установление исторических «причин» рассматриваемого «объекта», а вычленение самого исторического «объекта», «индивидуума», ибо последнее решается соотношением с ценностью, «постижение» которой подвержено историческому изменению. Поэтому Э. Майер заблуждается, полагая [с. 45], что в истории мы «никогда» не обретем «абсолютного и безусловно значимого» познания, – это неверно, если говорить о «причинах». Однако столь же неверно утверждать, что «такой же» характер носит познание в области естественных наук, ничем якобы не отличающееся от исторического. Это не соотносится природе «исторического индивидуума», то есть той роли, которую играют «ценности» в истории, а также и их модальности. (Как бы ни относиться к «значимости» этих «ценностей» как таковых, она нечто принципиально гетерогенное значимости причинной связи, которая является эмпирической истиной, пусть даже в философском смысле обе они в конечном счете мыслятся как нормативные.) Ибо ориентированные на «ценности» «точки зрения», с которых мы рассматриваем культурные объекты, в результате чего они только и становятся для нас «объектами» исторического исследования, подвержены изменению: а поскольку и до той поры, пока они являются таковыми (при условии, что «материал источников» остается неизменным, из чего мы постоянно исходим в нашем логическом анализе), исторически «существенными» будут становиться все новые «факты» и всегда по-новому. Такого рода обусловленность «субъективными» ценностями совершенно чужда тем естественным наукам, которые по своему типу близки механике, и именно в этом состоит специфическое «отличие» их от исторического исследования.

Подведем итог. В той мере, в какой «толкование» объекта является «филологическим» в обычном значении этого слова, например толкованием языка литературного произведения, оно служит для истории технической вспомогательной работой. В той мере, в какой филологическая интерпретация, «толкая», анализирует характерные черты своеобразия определенных «культурных эпох», лиц или отдельных объектов (произведений искусства, литературы), она служит образованию исторических понятий. Причем если рассматривать данную соотношение в логическом аспекте, такая интерпретация либо подчиняется требованиям исторического исследования, способствуя познанию каузально релевантных компонентов конкретной исторической связи как таковых, либо, наоборот, руководит им и указывает ему путь, «толкая» содержание объекта – «Фауста», «Орестейи» или христианства определенной эпохи и т.д. – в аспекте возможных соотношений их с ценностью, и тем самым ставит «задачи» каузальному историческому исследованию, то есть становится его предпосылкой. Понятие «культуры» конкретного народа и эпохи, понятие «христианства», «Фауста» или – что чаще остается незамеченным – понятие «Германии» и прочие объекты, образованные в качестве понятий исторического исследования, суть индивидуальные ценностные понятия, то есть образованные посредством соотношения с ценностными идеями.

Если мы (коснемся и этого) превращаем в предмет анализа самые эти оценки, которые мы прилагаем к фактам, мы занимаемся – в зависимости от нашей познавательной цели – либо философией истории, либо психологией «исторического интереса». Если же мы, напротив, рассматриваем конкретный «объект» в рамках «ценностного анализа», то есть «интерпретируем» его во всем своеобразии таким образом, что «суггестивно» предваряем возможные его оценки, предполагаем воссоздать творение культуры в «сопереживании», как это обычно (впрочем, совершенно неверно) называют, то подобная интерпретация еще не есть историческое исследование (в этом «зерно истины» формулировки Э. Майера). Хотя последняя, безусловно, совершенно необходимая *forma formans*[31] исторического «интереса» к объекту, его первичного

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org понятийного формирования в качестве «индивидуума» и каузального исторического исследования, которое лишь .благодаря этому становится осмысленным. И как бы ни формировали объект и ни прокладывали путь работе историка привычные повседневные оценки (как обычно случается в начале всякой «истории» политических сообществ, в частности «истории» собственного государства), и пусть даже историк уверен в том, что при изучении этих твердо установленных «объектов» он как будто (впрочем, только на первый взгляд и для повседневного употребления в быту) не нуждается в особой их ценностной интерпретации и ощущает себя «подлинно» в своей области, – как только он свернет со столбовой дороги и захочет обрести новое важное понимание политического «своеобразия» государства или политического духа, он и здесь будет вынужден действовать в соответствии с логическим принципом, совершенно так же, как это делает интерпретатор «Фауста». Впрочем, в одном Э. Майер прав: там, где анализ не выходит за пределы «толкования» самодовлеющей ценности, где не занимаются его каузальным сведением и не ставится вопрос о том, что «означает» данный объект каузально, в сопоставлении с другими, более широкими и более современными объектами культуры, – там еще нет подлинного исторического исследования, и историк видит в этом лишь материал для постановки исторических проблем. Не выдерживает критики, по-моему, только то обоснование, которое дает всему этому Э. Майер. Если Э. Майер видит принципиальную противоположность естественных наук и истории в том, что в первом случае материал рассматривается «систематически» в «данном его состоянии», если, например, и Риккерт выдвинул недавно понятие «систематических наук о культуре» (хотя прежде он рассматривал «систематику» как специфическое свойство естественных наук, противопоставляя ее методу «исторических наук, наук о культуре» также и в области «социальной» и «духовной» жизни), то мы считаем своей задачей рассмотреть в особом разделе, что же все-таки может означать «систематика» и каково отношение ее различных типов к историческому исследованию и естественным наукам{32}. Изучение античной, в частности греческой, культуры, сама форма исследования античности, которую Э. Майер определил как «филологический» метод, стала практически возможной после определенного языкового овладения материалом. Однако утверждение этого метода обусловлено не только названным обстоятельством, но и деятельностью ряда выдающихся исследователей и прежде всего тем «значением», которое до сих пор имела для нашего духовного формирования культура классической древности. Попытаемся сформулировать в резком и поэтому чисто теоретическом выражении те точки зрения на античную культуру, которые в принципе возможны. Одна из них – это представление об абсолютной ценностной значимости античной культуры; то, как оно отражено в гуманизме, у Винкельмана и, наконец, во всех разновидностях так называемого «классицизма», мы здесь рассматривать не будем. С этой точки зрения, если довести ее до ее логического завершения, компоненты античной культуры – при условии, что «христианские» воззрения нашей культуры или продукты рационализма не привнесли в нее «добавления» или «преобразования», – являются, во всяком случае виртуально, компонентами культуры как таковой, но не потому, что они оказали «каузальное» воздействие в том смысле, как это понимает Э. Майер, а потому, что в своей абсолютной ценностной значимости они должны каузально воздействовать на наше воспитание. Именно поэтому античная культура являет собой прежде всего объект интерпретации *in usum scholarum*{33}, для воспитания нации, превращения ее в культурный народ. «Филология» в самом широком ее значении как «познание познанного» видит в античности нечто принципиально надисторическое, некую вневременную значимость. Другая, современная точка зрения, прямо противоположная первой, гласит: культура античности в подлинном ее своеобразии настолько бесконечно далека от нас, что совершенно бессмысленно стремиться дать «подавляющему большинству» понимание ее истинной «сущности». Она является объектом высокой ценности для тех немногих, кто хочет погрузиться в навсегда исчезающую, неповторимую в своих существенных чертах, высшую форму человечности, обрести от соприкосновения с этой культурой некое «художественное наслаждение»{34}. И наконец, согласно третьей точке зрения, изучение древнего мира соответствует определенному направлению научных интересов, предоставляя богатейший этнографический материал для образования общих понятий, аналогий и закономерностей развития в доистории не только нашей, но «любой» культуры вообще. Достаточно вспомнить об успехах в наши дни сравнительной истории религий, которые были бы немыслимы без использования наследия древности на основе специальной филологической подготовки. С данной точки зрения античности уделяется внимание постольку, поскольку содержание ее культуры может быть использовано в качестве средства познания при образовании общих «типов», но в ней не видят – в отличие от «понимания» первого типа – ни культурных норм длительной

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org значимости, ни – в отличие от «понимания» второго типа – абсолютно неповторимого ценностного объекта индивидуального созерцания.

Из сказанного явствует, что для всех трех сформулированных нами, как было сказано, чисто «теоретических» точек зрения занятие античной историей представляет интерес для осуществления определенных целей при «изучении древности», из чего даже без каких-либо комментариев очевидно, что все они далеки от интересов историка, поскольку их основной целью является отнюдь не постижение истории. Однако, если, с другой стороны, Э. Майер действительно считает необходимым исключить из истории древнего мира то, что с современной точки зрения не оказывает больше исторического воздействия, тогда все те, кто ищет в древности нечто большее, чем историческую «причину», решат, что он фактически оправдывает своих противников. Все почитатели ценных трудов Э. Майера сочтут за благо, что у него не может быть серьезного намерения провести эту идею на практике, и надеются, что он и не предпримет подобной попытки в угоду неверно сформулированной теории{35}.

II. ОБЪЕКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И АДЕКВАТНАЯ ПРИЧИННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ КАУЗАЛЬНОСТИ

«Начало 2-ой Пунической войны, – говорит Э. Майер [с. 161, – было следствием волевого решения Ганнибала, начало Семилетней войны – решения Фридриха Великого, войны 1866 г. – Бисмарка. Все трое могли бы принять и другое решение, и другие люди на их месте действительно... приняли бы другое решение, в результате чего изменился бы ход истории». «Тем самым, однако, мы отнюдь не утверждаем, – добавляет он в сноске 2. – что в таком случае не было бы упомянутых войн, но и не оспариваем подобной возможности, это праздный вопрос, ответ на который не может быть дан». Не говоря уже о том, что вторая фраза из приведенной цитаты плохо сочетается с рассмотренными нами выше формулировками Э. Майера о соотношении в истории «свободы» и «необходимости», здесь прежде всего вызывает недоумение, что вопросы, на которые мы не можем или не можем с уверенностью ответить, уже по одному этому являются «праздными». Плохо пришлось бы эмпирическим наукам, если бы те важнейшие проблемы, на которые они не могут дать ответа, вообще не были бы поставлены. Здесь, правда, речь идет не о таких «последних» проблемах, а о вопросе, который уже оставлен событиями «позади» и на который при нашем современном уровне знания позитивно однозначный ответ действительно не может быть дан. К тому же с позиции строгого «детерминизма» здесь рассматриваются следствия того, что «невозможно» по состоянию «детерминантов». И тем не менее, невзирая на все сказанное, вопрос, что могло бы случиться, если бы Бисмарк, например, не принял решения начать войну, отнюдь не «праздный». Ведь именно в этой постановке вопроса кроется решающий момент исторического формирования действительности, и сводится он к следующему: какое каузальное значение следует придавать индивидуальному решению во всей совокупности бесконечного множества «моментов», которые должны были бы быть именно в таком, а не ином соотношении, для того чтобы получился именно этот результат, и какое место оно, следовательно, должно занимать в историческом изложении событий. Если история хочет подняться над уровнем простой хроники, повествующей о значительных событиях и людях, ей не остается ничего другого, как ставить такого рода вопросы. Именно так она и поступает с той поры, как стала наукой. В ранее приведенной формулировке Э. Майера, где утверждается, что история рассматривает события в аспекте становления и поэтому ее объект не подчинен «необходимости», присущей «ставшему», правильно именно то, что, оценивая каузальное значение конкретного события, историк поступает так же, как принимающий определенную позицию и осуществляющий свою волю человек прошлого, который ни в коем случае не стал бы действовать, если бы его «деятельность» не представлялась ему не только «возможной», но и «необходимой»{36}. Разница лишь в следующем: действующий человек – если он действует, как мы здесь предполагаем, строго «рационально» – взвешивает находящиеся «вне» его и, насколько это ему известно, данные в действительности «условия» интересующего его развития и мысленно вводит в каузальную связь различные «возможные типы» своего поведения и их ожидаемые результаты, связанные с этими «внешними» условиями, чтобы затем в зависимости от (мысленно) полученных «возможных» результатов решить, какое поведение наиболее соответствует его «цели». Преимущество историка над его героем состоит в том, что он а posteriori знает, действительно ли соответствовала оценка этих «внешних условий» знаниям и ожиданиям действовавшего человека, об этом ведь свидетельствует фактический «результат» его действий. При наличии идеального максимума в знании этих условий, который мы, рассматривая здесь

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org чисто логические вопросы, теоретически хотим и можем принять за основу, – пусть даже в действительности этот максимум знаний встречается очень редко или вообще никогда не может быть достигнут – историк может ретроспективно совершить ту же мысленную операцию, которую более или менее осознанно совершил или «мог совершить» его «герой». Историк мог бы, например, со значительно большим шансом на успех, чем Бисмарк, поставить вопрос, каких же последствий следовало бы «ожидать» при ином решении. Совершенно очевидно, что такое рассмотрение событий отнюдь не является «праздным». Э. Майер и сам пользуется этим методом, говоря о двух выстрелах, которые в мартовские дни непосредственно спровоцировали в Берлине взрыв уличных боев. Вопрос о причине произведенных выстрелов, по его мнению, «исторически нерелевантен». Однако почему он менее релевантен, чем выявление причин, вызвавших решение Ганнибала, Фридриха Велликого или Бисмарка? «В этой ситуации, – полагает Э. Майер, – любая случайность должна была (!) привести к открытому конфликту». Совершенно очевидно, что Э. Майер отвечает здесь на такой якобы «праздный» вопрос, что произошло бы, не будь этих выстрелов, и, таким образом, определяет степень их исторической «значимости» (в данном случае их иррелевантности). Что же касается решений Ганнибала, Фридриха Велликого и Бисмарка, то здесь «условия» были, так по крайней мере полагает Э. Майер, иными, из чего следует, что при другом решении конфликт не был неизбежен: то ли вообще, то ли в тогдашней политической ситуации, которая определила его характер и исход. Ведь в противном случае эти решения были бы исторически столь же незначительны, как те выстрелы, о которых шла речь выше. Суждение, что отсутствие или изменение одного исторического факта в комплексе исторических условий привело бы к изменению хода исторического процесса в определенном исторически важном отношении, оказывается все-таки весьма существенным для установления «исторического значения» факта, пусть даже *in praesenti*[37] историк лишь в виде исключения – например, в споре об «историческом значении» какого-либо события – сознательно и недвусмысленно высказывает и обосновывает подобное суждение. Совершенно очевидно, что это обстоятельство должно было бы стимулировать исследование логической природы и исторической значимости суждений, где речь идет о том, какого результата можно «было бы» ждать, если из совокупности условий исключить какой-либо каузальный компонент или изменить его. Попытаемся внести в вопрос некоторую ясность.

В какой мере логика истории[38] еще оставляет желать лучшего, явствует среди прочего и из того, что серьезные исследования этого важного вопроса принадлежат не историкам и не специалистам по методологии истории, а представителям совсем иных наук.

Теория «объективной возможности», о которой здесь идет речь, основана на трудах выдающегося физиолога Криса[39], а принятое применение этого понятия – либо на трудах того же направления, либо на трудах, посвященных его критике, к числу которых в первую очередь относятся работы криминалистов, а затем и других юристов, в частности Меркеля, Рюмелина, Липмана, а в последние годы – Радбруха[40]. В методологии социальных наук ход мыслей Криса нашел себе применение пока только в статистике[41]. Тот факт, что именно юристы, и в первую очередь криминалисты, занялись этой проблемой, совершенно естествен, так как вопрос об уголовной вине – поскольку в нем содержится проблема, при каких обстоятельствах можно утверждать, что действия некоего лица «послужили причиной» определенного внешнего результата – носит чисто каузальный характер; к тому же по своей логической структуре она совершенно совпадает с вопросом об исторической причинности. Ведь «антропоцентрично» ориентированы, так же, как история, и проблемы правосудия; другими словами, в них задается вопрос о каузальном значении человеческих «действий». Совершенно так же, как в вопросе о причинной обусловленности конкретного правонарушения, которое эвентуально должно повлечь за собой уголовное наказание или возмещение убытков в соответствии с гражданским правом, и проблема причинности в истории всегда ориентирована на сведение конкретных результатов к их конкретным причинам, а не на выявление абстрактных «закономерностей». Правда, юриспруденция, и в частности криминалистика, сворачивает с совместного пути к специфической для нее постановке проблемы вследствие того, что возникает еще один вопрос, а именно: является ли объективное чисто каузальное сведение какого-либо результата к действиям индивида достаточным основанием для квалификации действий последнего как его субъективной «вины» и в каких случаях это может служить достаточным основанием для подобного вывода. Данный, вопрос уже не является чисто каузальной проблемой, которая может быть решена простым установлением «объективно» (то есть посредством обнаружения и каузального толкования) выявленных фактов; это уже проблема криминальной политики,

Ведь в принципе возможен такой случай (что бывает часто, а в наши дни постоянно), когда совершенно определенно высказанный или выявляемый интерпретацией смысл правовых норм состоит в том, что «вина», соответственно данному правовому положению, должна быть в первую очередь поставлена в связь с рядом субъективных факторов, характеризующих поведение индивида (таких, как его намерения, «субъективно обусловленная» возможность предвидеть результат его действий и т.п.), а это может в значительной мере изменить значение категориальных различий при установлении каузальной связи{42}. Впрочем, на ранней стадии категориальное различие исследовательских целей еще не имеет серьезного значения. Вместе с теоретиками в области юридической науки мы прежде всего задаем вопрос: в какой мере вообще принципиально возможно и осуществимо сведение конкретного «результата» к одной-единственной «причине», принимая во внимание то обстоятельство, что на самом деле каждое «событие» обусловлено бесконечным, числом каузальных моментов и для того, чтобы тот или иной результат в его конкретном выражении был достигнут, необходимы все единичные каузальные моменты.

Возможность отбора в этой бесконечности детерминантов обусловлена прежде всего характером нашего исторического интереса. Когда говорят, что задача историка – понять каузальную связь события в его конкретной действительности и индивидуальности, то это, само собой разумеется, не означает (как мы уже видели), что событие будет полностью «репродуцировано» и каузально объяснено в совокупности всех своих индивидуальных качеств. Это было бы не только фактически невозможной, но и принципиально бессмысленной задачей. Историк должен дать каузальное объяснение только тех «компонентов» и «сторон» изучаемого события, которые с определенных точек зрения имеют «всеобщее значение» и поэтому исторический интерес; совершенно так же и судья исходит в своем приговоре не из всего индивидуального хода событий, но только из тех компонентов, которые имеют существенное значение для подведения дела под определенную юридическую норму. Его не интересует – не говоря уже о бесконечном числе «совершенно» тривиальных мелочей – даже все то, что может представлять интерес с естественнонаучной, исторической или художественной точек зрения. Так, например, «последовала» ли смерть от нанесенного удара при известных «сопутствующих» явлениях, что может быть очень интересно физиологу; может ли положение мертвого тела или поза убийцы служить предметом художественного изображения; способствовала ли эта смерть «продвижению» в бюрократической иерархии не причастного к убийству, но как-то «связанного» с ним лица и, следовательно, оказалась для него каузальной «ценной»; послужила ли она поводом для определенных предписаний охранной полиции или, может быть, даже для международных конфликтов и тем самым обрела «историческую» значимость. Единственно релевантное состоит для него в том, носит ли каузальная связь между ударом и смертью такой характер и является ли субъективный облик преступника и его отношение к преступлению таковым, что позволяет применить к нему определенную норму уголовного права. Историка же, например, в связи со смертью Цезаря интересуют не юридические или медицинские проблемы, которые могут возникнуть при изучении этого «случая», и не детали этого события, если они несущественны для «характеристики» Цезаря или борьбы партий в Риме, то есть не служат «средством познания», или, наконец, не имеют важных политических последствий, то есть не являются «реальной причиной». Историка здесь прежде всего интересует то обстоятельство, что Цезарь был убит именно тогда, в той конкретной политической конstellации, и в связи с этим он рассматривает вопрос, имел ли данный факт определенные важные «последствия» для «мировой истории».

Из этого следует, что при юридическом, а равно и при историческом каузальном сведении громадное множество компонентов подлинного происшествия исключается в качестве «каузально иррелевантных». Ведь отдельный факт оказывается, как мы видели, несущественным не только в том случае, если он никак не связан с рассматриваемым событием, и мы можем просто игнорировать его, не опасаясь внести тем самым какое-либо изменение в действительный ход вещей, но и в том случае, если существенные, единственно *in concrete* интересные историку компоненты данного события не оказываются причинно обусловлены также и этим фактом.

Подлинная проблема заключается для нас в следующем: посредством каких логических операций мы можем понять и, демонстрируя, обосновать, что подобное причинное соотношение между упомянутыми «существенными»

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org компонентами результата и определенными компонентами, вычлененными из бесконечности детерминирующих моментов, существует. Конечно, достигается это не посредством простого «наблюдения» – во всяком случае, если под ним понимать «лишенное всяких предпосылок». мысленное «фотографирование» всех происшедших в данном пространственно-временном отрезке физических и психических процессов, даже если это было бы возможно. Каузальное сведение совершается в виде мыслительного процесса, содержащего ряд абстракций. Первая и наиболее важная состоит в том, что мы, исходя из реальных каузальных компонентов события, мысленно представляем себе один или некоторые из них определенным образом измененными и задаем вопрос, следует ли при измененных таким образом условиях ждать тождественного в «существенных» пунктах или какого-либо иного результата. Приведем пример из исследования самого Э. Майера. Никто не излагал так пластично и ясно, как он, «значение» персидских войн для мировой истории и культурного развития Запада. Однако как же это выглядит в логическом аспекте? Прежде всего, сопоставляются две «возможности»: 1) распространение теократически-религиозной культуры, уходящей своими корнями в мистерию и пророчества оракулов, под эгидой и протекторатом персов, повсюду стремившихся использовать национальную религию как орудие господства (примером может служить их политика по отношению к иудеям), и 2) победа посястороннего, свободного духовного мира эллинов, который подарил нам культурные ценности, вдохновляющие нас по сей день. Дело «решило» сражение, небольшая по своим масштабам «битва» при Марафоне, которая представляла собой необходимую «предпосылку» создания аттического флота и, следовательно, дальнейшей борьбы за свободу и сохранение независимости эллинской культуры, позитивных стимулов возникновения специфической западной историографии, развития драмы и всей той неповторимой духовной жизни, сложившейся на этой, в чисто количественном отношении более чем второстепенной арене мировой истории.

И то обстоятельство, что битва при Марафоне «решила», какая из двух возможностей одержит верх, или во всяком случае в значительной степени повлияла на это, и есть единственная причина (поскольку мы не афиняне) того, что она возбуждает наш исторический интерес. Без сопоставления названных «возможностей» и оценки тех незаменимых культурных ценностей, которые в нашем ретроспективном рассмотрении «связаны» с этим решением, мы не могли бы определить, какое «значение» имела битва при Марафоне: а тогда было бы действительно трудно понять, почему бы нам не отнестись к ней с таким же интересом, как к каким-либо потасовкам между племенами кафров или индейцев, и, следовательно, со всей серьезностью не воспринять тупоумную «основную идею», изложенную во «Всемирной истории» Гельмольта^{43}. Поэтому когда современные историки, устанавливая «значение» какого-либо конкретного события и тщательно обдумывая и излагая в этой связи «возможности» развития, обычно как бы извиняются за применение такой якобы антидетерминистской категории, то это логически совершенно необоснованно. Когда, например, К. Хампе после того, как он убедительно изложил в своем «Конрадине», в чем состояло историческое «значение» битвы при Тальякоццо, сопоставив различные «возможности», выбор из которых состоялся вследствие чисто «случайного», то есть «предрешенного» индивидуальными тактическими действиями исхода, внезапно добавляет, что «истории неведомы возможности», то на это следует возразить, что «событиям», «объективированно» мыслимым на основании детерминистских аксиом, они действительно «неведомы», поскольку событиям вообще «неведомы» понятия; но «историческая наука», если она действительно хочет быть таковой, всегда должна представлять себе различные возможности развития. В каждой строке любой исторической работы, даже в отборе архивного материала или грамот, предназначенных для публикации, всегда присутствуют «суждения о различных возможностях», вернее, должны присутствовать, для того чтобы такая публикация обладала «познавательной ценностью».

Что же, однако, имеем мы в виду, говоря о ряде «возможностей», между которыми был совершен «решающий» выбор в результате рассмотренных выше сражений? Это означает прежде всего, что посредством исключения одного или многих фактически существовавших в реальности компонентов «действительности» и с помощью теоретической конструкции измененного в одном или в нескольких своих условиях хода событий создаются – признаем без всякого страха – некие фантастические построения. Уже первый шаг к вынесению исторического суждения – и это надо подчеркнуть – являет собой, следовательно, процесс абстрагирования, который протекает путем анализа и мысленной изоляции компонентов непосредственно данного события (рассматриваемого как комплекс возможных причинных связей) и должен

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org завершится синтезом «действительной» причинной связи. Тем самым уже первый шаг превращает данную «действительность», для того чтобы она стала историческим «фактом», в мысленное построение – в самом факте заключена, как сказал Гёте, «теория».

Если же мы внимательно рассмотрим «суждения о возможностях», то есть высказывания о том, что случилось «бы» при исключении или изменении определенных условий, и зададим себе вопрос, как же мы, собственно говоря, эти суждения получаем, то, без всякого сомнения, придем к заключению, что здесь все время речь идет об изоляции и генерализации, то есть что мы расчленяем «данное» событие на его «компоненты» до той степени, которая позволит подвести каждый из них под определенное «эмпирическое правило» и тем самым установить, какого результата можно «было бы ожидать» в соответствии с эмпирическим правилом от каждого из этих компонентов, если бы все остальные выступали в качестве «условий». Суждение о «возможности» в том смысле, в котором данный термин здесь используется, всегда означает, следовательно, соотношение с эмпирическими правилами. Категория «возможности» применяется, таким образом, не в ее негативном аспекте, не в том смысле, что она выражает наше незнание или неполное знание в отличие от ассерторического или аподиктического суждения, но, напротив, применение этой категории означает, что здесь происходит соотношение с позитивным знанием о «правилах происходящего», с нашим «номологическим» знанием, по принятому словоупотреблению.

Если на вопрос, прошел ли уже поезд определенную станцию, следует ответ «возможно», то это означает, что отвечавший субъективно не знает факта, который мог бы исключить такое предположение, но вместе с тем не может с уверенностью это утверждать. Другими словами, такой ответ можно определить как «незнание». Но если Э. Майер выносит суждение, согласно которому теократически-религиозное развитие Эллады в момент битвы при Марафоне было «возможным», а при известных обстоятельствах даже вероятным, то это означает, что для такого развития объективно существовали известные компоненты исторической данности, или, другими словами, что можно с объективной значимостью установить, какие из этих компонентов могли бы, если мы мысленно исключим битву при Марафоне (и, конечно, значительную часть других компонентов фактического хода событий), в соответствии с общими эмпирическими правилами позитивно «способствовать», пользуясь принятым в криминалистике оборотом, такому развитию событий. «Знание», на котором основано подобное суждение о «значении» битвы при Марафоне, являет собой, как следует из вышесказанного, с одной стороны, знание определенных, полученных из источников «фактов» данной «исторической ситуации» («онтологическое» знание), с другой – как мы уже видели, – знание известных эмпирических правил, в частности того, как люди обычно реагируют на данную ситуацию («номологическое знание»). Характер «значимости» таких эмпирических правил мы рассмотрим ниже. Одно, во всяком случае, несомненно: для доказательства своего тезиса, решающего для значения битвы при Марафоне, Э. Майер должен был бы в случае какого-либо сомнения расчленить данную «ситуацию» на такое количество ее компонентов, которое позволило бы с помощью нашей «фантазии» применить к этому онтологическому знанию наше «помологическое» эмпирическое знание, почерпнутое из собственной жизненной практики и из знания о поведении других людей, а затем вынести позитивное суждение, согласно которому совместное воздействие таких фактов – в условиях, определенным образом мысленно измененных, – «могло бы» привести к данному «объективно возможному», как утверждалось, результату. А это означает: в том случае, если бы мы «мыслили» его как фактически имевший место, мы могли бы считать измененные нами вышеуказанным образом условия «достаточными причинами» такого результата.

Необходимая для установления однозначности несколько пространная формулировка этого простого положения вещей свидетельствует не только о том, что для формулирования исторической каузальной связи необходимо применение абстракции в ее обеих разновидностях – изолировании и генерализации, – но и что даже самое элементарное историческое суждение об историческом «значении» «конкретного факта» очень далеко от простой регистрации «преднайденого» и представляет собой не только конструируемое с помощью категорий мысленное образование, но и чисто фактически обретает значимость лишь благодаря тому, что мы привносим в «данную» реальность все наше «помологическое» опытное знание.

Историк возразит на это^{44}, что весь фактический процесс исторического исследования и фактическое содержание исторического изложения носит совсем

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org иной характер. Историк открывает «каузальные связи» с помощью врожденного «такта» или «интуиции», а отнюдь не посредством генерализаций и применения «правил». Ведь отличие исторического исследования от исследования в области естественных наук, продолжит он, и состоит в том, что историк объясняет события и людей, «толкую» и «понимая» их по аналогии с нашей духовной сущностью; и наконец, изложение, данное историком, также всецело зависит от его «такта», от наглядности его сообщения, которое, воздействуя на читателя, заставляет его «сопереживать» события, подобно тому как и сам историк интуитивно пережил и увидел, а не рассудочно измыслил их. Затем подобное суждение об объективной возможности того, что в соответствии с общими правилами опытного знания произошло «бы», если мысленно исключить или изменить один каузальный компонент, по мнению историка, весьма недостоверно, а подчас его вообще невозможно получить; таким образом, эта основа исторического «сведения» фактически грозит постоянным провалом и, следовательно, никак не может считаться конститутивной для логической ценности исторического познания. В аргументации такого рода происходит смешение различных сторон, а именно: психологического процесса возникновения научного познания и избранной для «психологического» воздействия на читателя «художественной» формы изложения познанного, с одной стороны, и логической структуры познания – с другой.

Ранке «угадывал» прошлое; впрочем, историк более низкого уровня тоже вряд ли преуспеет, если он вообще не обладает даром «интуиции»; в этом случае он навсегда останется своего рода мелким чиновником от истории. Однако и там, где речь идет о действительно крупных открытиях в области математики и естествознания, дело обстоит совершенно так же: они внезапно озаряют в виде «интуитивной» гипотезы, порожденной фантазией исследователя, а затем «верифицируются», то есть исследуются с точки зрения их «значимости» посредством применения к ним уже имеющегося опытного знания, и логически корректно «формулируются». Совершенно то же происходит и в истории: говоря о связи между познанием «существенного» и применением понятия объективной возможности, мы ни в коей степени не касаемся психологически весьма интересного, но не занимающего нас здесь вопроса: как возникает историческая гипотеза в глубинах духа исследователя? Речь идет о том, с помощью какой логической категории может быть показана ее значимость, если она ставится под сомнение или опровергается, ибо именно это и определяет ее логическую «структуру». Если же историк сообщает читателю только логический результат своих каузальных суждений, не приводя должных его обоснований, если он просто «внушает» читателю понимание событий, вместо того чтобы педантично «рассуждать» о них, то он создает исторический роман, а не научное исследование, художественное произведение, в котором отсутствует прочная основа сведения элементов действительности к их причинам. Между тем только эта причинная обусловленность и представляет интерес для сухого логического рассмотрения, так как историческое отображение событий также претендует на значимость в качестве «истины», и эту значимость, наиболее важный ее аспект, который мы рассматривали выше, то есть каузальное регрессивное движение, историческое исследование обретает только в том случае, если оно при каком-либо сомнении выдерживает испытание посредством изолирования и генерализации единичного каузального компонента с помощью категории объективной возможности, допускающей синтезирующее сведение элементов действительности к их причинам.

Совершенно очевидно, что так же, как каузальное раскрытие «исторического значения» битвы при Марафоне с помощью изолирования, генерализации и конструкции суждений о различных исторических возможностях, происходит в логическом аспекте и каузальный анализ индивидуальных действий. Обратимся к наиболее яркому примеру – к мысленному анализу собственных действий, который, по мнению не прошедшего логическую школу человека, не содержит никаких «логических проблем», поскольку такой анализ дан непосредственно в переживании и – у психически здоровых людей – «понятен» без всяких разъяснений, а поэтому может быть немедленно «восстановлен» в памяти. Самые простые соображения показывают, что дело обстоит совсем не так, что «значимый» ответ на вопрос, почему я так действовал, представляет собой категориально оформленное образование, которое может быть поднято до уровня демонстрируемого суждения лишь посредством применения абстракций, хотя речь здесь и идет о «демонстрации» перед форумом самого «действующего лица».

Предположим, что некая темпераментная молодая мать, раздраженная непослушанием своего малыша, будучи истой немкой, не придерживающейся теории, высказанной в прекрасных словах Буша: «Поверхностен удар, лишь сила духа проникает в душу», – отвесила младенцу основательную пощечину.

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org
Предположим далее, что она настолько далека от «бледных теорий», что ни секунды не размышляла впоследствии ни о «педагогической целесообразности» пощечины, ни о том, насколько «заслужена» была пощечина, или хотя бы о силе, с которой она была дана; предположим затем, что *pater familias* [45], обративший внимание на рев ребенка и уверенный, как полагается немцу, в своем превосходстве во всем, в том числе и в вопросах воспитания детей, ощутил потребность сделать «ей» внушение с «телеологической» позиции. «Она» же станет себя оправдывать тем, что если бы в ту минуту не была, скажем, «раздражена» ссорой с кухаркой, то либо вообще не прибегла бы к такому дисциплинарному средству, либо действовала бы «не так», и просит его признать, что «она обычно так не поступает, он ведь и сам это знает». Тем самым жена напоминает мужу о его «опытном знании» ее «постоянных мотивов», которые при преобладающем числе всех возможных вообще конstellаций привели бы к иному, менее иррациональному результату. Другими словами, она претендовала на понимание того, что нанесенная ею пощечина была «случайной», а не «адекватно» обусловленной реакцией на поведение ее ребенка, как мы назовем это, предвосхищая следующее ниже введение такого термина.

Уже приведенное здесь супружеское объяснение позволяет превратить такое «переживание» в категориально оформленный «объект»; и хотя упомянутая молодая женщина была бы удивлена не менее мольеровского мещанина, с радостью узнавшего, что он всю жизнь говорил «прозой», если бы логик открыл ей, что она произвела «каузальное сведение» так, как это делает историк, вынесла с этой целью «суждение об объективной возможности» и даже оперировала категорией «адекватной причинной обусловленности» (о которой у нас вскоре пойдет речь), – с логической позиции дело обстоит именно так. Никогда, нигде мысленное проникновение даже в собственное переживание не являет собой действительное «повторное переживание» или простую «фотографию» пережитого; «пережитое», ставшее «объектом», всегда обретает перспективы и связи, которые самому «переживанию» неведомы. Когда мы, размышляя, представляем себе собственное действие в прошлом, мы в этом отношении действуем совершенно так же, как в том случае, когда мы представляем себе «пережитое» нами самими или известное нам из рассказа других «явление природы». Вряд ли есть необходимость в том, чтобы подтвердить общезначимость данного положения дальнейшими более сложными примерами [46], доказывать, что при анализе какого-либо решения, принятого Наполеоном или Бисмарком, мы логически совершаем ту же процедуру, которую совершила в нашем примере немецкая мать. Различие, которое заключается в том, что ей «внутренняя сторона» анализируемого действия дана в собственном воспоминании, тогда как действия третьего лица нам приходится «толковать» «извне», отличается вопреки наивному предрассудку лишь степенью доступности и полноты «материала»: находя, что понять характер человека «сложно» и трудно, мы всегда склонны полагать, будто он сам, если действительно захочет, способен дать нам достоверные сведения. Мы не будем здесь подробнее останавливаться ни на том, что дело обстоит совсем не так, часто даже совсем наоборот, ни на причинах этого.

Приступим теперь к более пристальному рассмотрению категории «объективной возможности», функция которой до сих пор была охарактеризована нами лишь в самой общей форме, и прежде всего к модальности «значимости» суждений о возможности. Не означает ли, что, вводя «возможности» в «каузальное рассмотрение», мы отказываемся от каузального познания вообще, что, невзирая на все сказанное выше об «объективной» основе суждения о возможности, фактически, поскольку установление «возможного» хода событий всегда осуществляется с помощью «фантазии», признание значения рассматриваемой нами категории открывает все двери субъективному произволу в «историографии», и что история именно поэтому и не является «наукой»? В самом деле, позитивно ответить с достаточной долей вероятности на вопрос, что произошло «бы», если мыслить один из обуславливающих событие моментов определенным образом измененным, часто даже при «идеальной» полноте материала источников совершенно невозможно, исходя из общих эмпирических правил [47]. Однако в этом и нет необходимости. Определение каузального значения исторического факта начинается с вопроса: можно ли предположить, что ход событий, протекающий в соответствии с общими эмпирическими правилами, принял бы несколько иное направление в решающих для нашего интереса пунктах, если бы данный факт был исключен из комплекса обуславливающих факторов или в определенном смысле изменен? Ведь нам важно лишь установить, как воздействуют на интересующие нас «стороны» явления отдельные обуславливающие его моменты. Если же и по поводу этого по существу негативного вопроса невозможно высказать соответственное

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org
«объективное суждение, подтверждающее его возможность», если, другими словами, на данном уровне наших знаний следовало бы «ожидать», что даже при исключении или изменении этого факта ход событий в «исторически важных», то есть интересующих нас пунктах проходил бы в соответствии с общими эмпирическими правилами именно так, как он в действительности и проходил, тогда данный факт и в самом деле не имеет каузального значения, и ему совершенно не место в каузальном ряду, целью которого является и должно являться создание каузального регрессивного движения в изучении истории.

Два выстрела, раздавшихся в мартовскую ночь в Берлине, приблизительно относятся, по мнению Э. Майера, к этой категории; не полностью, вероятно, потому, что даже при его понимании их можно, во всяком случае, считать одним из условий начала событий и, случись они в другое время, ход событий мог бы быть иным.

Если же в соответствии с нашим опытным знанием каузальная релевантность момента определяется посредством его соотнесения с важными для конкретного рассмотрения пунктами, тогда суждение об объективной возможности, в котором высказывается эта релевантность, может найти свое выражение в целой шкале различных степеней определенности. Воззрение Э. Майера, согласно которому «решение» Бисмарка «привело» к войне 1866 г., в ином смысле, чем названные два выстрела, предполагает утверждение, что при исключении этого решения другие имеющиеся детерминанты позволяют предположить «значительную степень» объективной возможности иного (в «существенных» пунктах!) развития, например истечение срока прусско-итальянского договора, мирная передача Венеции, австро-французская коалиция или, во всяком случае, изменение политической и военной ситуации, в результате чего Наполеон фактически стал бы «господином положения». Суждение об объективной «возможности» по самой своей сущности допускает, следовательно, градации, логическое соотношение которых можно, опираясь на принципы, применяемые в логическом анализе «вероятностного исчисления», представить себе таким образом: те каузальные компоненты, с «возможным» результатом которых соотносится суждение, мысленно изолируют, противопоставляя его совокупности всех остальных вообще мыслимых, действующих совместно с ним условий. При этом задается вопрос, как совокупность всех тех условий, в сочетании с которыми те мысленно изолированные компоненты «способны» были привести к «возможному» результату, относится к совокупности всех тех условий, в сочетании с которыми они «предположительно» бы его не достигли. Само собой разумеется, что никакого «цифрового» выражения для отношения этих двух «возможностей» подобная операция дать никак не может. Такого рода явления встречаются лишь в сфере «абсолютной случайности» (в логическом смысле), то есть там, где при очень большом числе случаев определенные простые и однозначные условия остаются совершенно одинаковыми, все остальные же варьируются совершенно непостижимым для нас образом (примером может служить бросание костей или вынимание шариков различных цветов из урны). При этом «возможность» той «стороны» результата, которая представляет здесь интерес (число очков или цвет шариков), определяется константными и однозначными условиями (количеством костей, распределением шариков) таким образом, что все остальные мыслимые обстоятельства не могут быть поставлены с упомянутой «возможностью» в какую бы то ни было каузальную связь, которую можно было бы подвести под общее эмпирическое правило. То, как я держу стакан для игральные кости и встряхиваю его, прежде чем бросаю кости, являет собой детерминирующий компонент того числа очков, которые я *in concrete* бросаю. Тем не менее, несмотря на всевозможные суеверные представления, нет никакой возможности вывести эмпирическое правило, позволяющее установить, что определенные действия «способствуют» получению необходимого числа очков. Следовательно, эта каузальная связь носит совершенно «случайный» характер, и мы вправе утверждать, что физические свойства игрока, «как правило», не влияют на шанс получить нужное число очков: при любых обстоятельствах «шансы» на то, что какая-нибудь из шести сторон окажется сверху, «равны». Между тем существует общее эмпирическое правило, которое гласит, что при смещении центра тяжести в таком «поддельном» кубике создается преимущественный шанс для того, чтобы определенная его сторона оказалась сверху, какими бы ни были другие конкретные детерминанты, и степень этого «преимущества» «объективной возможности» при достаточно длительном повторении броска может быть даже выражена в цифрах. Несмотря на вполне веское предупреждение не переносить принципы «вероятностного исчисления» на другие области, совершенно очевидно, что этот последний случай аналогичен действиям в области любой конкретной каузальности, следовательно, и исторической. Различие заключается лишь в том, что здесь полностью отсутствует возможность цифровой определяемости, необходимой предпосылкой

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org которой являются, во-первых, «абсолютная случайность», во-вторых, наличие в качестве единственного объекта интереса определенных доступных исчислению «сторон» или результатов действий. Однако несмотря на это, мы можем не только выносить общезначимые суждения, согласно которым определенные ситуации в большей или меньшей степени «благоприятствуют» тому, что связанные с ними люди реагируют в известной мере одинаково, но можем также, формулируя данное положение, определить огромное число вероятных приводящих обстоятельств, не способных изменить общее «благоприятствование». Мы можем, наконец, оценить степень благоприятствования определенных «условий» определенному результату, правда, отнюдь не однозначно и не методами вероятностного исчисления, но в виде оценки относительной «степени» этого благоприятствования посредством сравнения с тем, какое действие оказали бы на упомянутые реакции условия, которые мы мысленно видоизменяем. Если мы затем с помощью фантазии проводим сравнение достаточного количества мысленно измененных нами констелляций, можно считать, что мы достигли достаточной определенности в суждении о «степени» объективной возможности, во всяком случае в принципе, а этот вопрос нас здесь и занимает. Не только в повседневной жизни, но и в истории – именно в истории прежде всего – мы постоянно применяем такие суждения о «степени» «благоприятствования»; без них было бы вообще невозможно различать «важные» и «неважные» обстоятельства. И Э. Майер в рассмотренном нами здесь труде, вне всякого сомнения, также пользовался указанным методом. Если те многократно упомянутые два выстрела были каузально «несущественны» потому, что «любая» случайность должна была, по мнению Э. Майера (которое мы не будем здесь подвергать критике по существу), привести к конфликту, то это означает, что в данной исторической констелляции мысленно изолированы определенные «условия», которые при громадном количестве теоретически возможных иных приводящих условий привели бы к такому же результату. Число же тех мыслимых причинных моментов, которые, приводя, могли бы с вероятностью привести к иному (в решающих пунктах!) результату, представляется нам относительно очень ограниченным; с мнением Э. Майера, который считал его равным нулю, мы, несмотря на слово «должны» (хотя обычно он постоянно подчеркивает иррациональность истории), согласиться не можем.

Подобные случаи отношения определенных, объединенных в историческом исследовании и изолированно рассматриваемых комплексов «условий» к полученным «результатам», условий, которые соответствуют только что названному логическому типу, мы в соответствии с принятым после появления работ Криса словоупотреблением юристов, занимающихся теорией причинности, назовем «адекватной» причинной обусловленностью (данных компонентов результата данными условиями) и совершенно так же, как это делает Э. Майер – он только не дает ясной конструкции данного понятия, – будем говорить о «случайной» причинной обусловленности там, где на исторически существенные компоненты результата оказывали действие факты, приводившие к результату, который не был в этом смысле «адекватен» мысленно собранному в некое единство комплексу условий.

В свете прежних примеров «значение» битвы при Марафоне, в понимании Э. Майера, следует логически определить таким образом: нельзя утверждать, что победа персов должна была привести к совершенно иному развитию эллинской и тем самым всей мировой культуры – подобное суждение совершенно невозможно, – но можно утверждать, что это иное развитие «было бы» «адекватным» следствием подобного события. Что же касается высказывания Э. Майера по поводу объединения Германии, высказывания, против которого возражает Белов, то логически корректно его следует формулировать так: объединение Германии в качестве «адекватного» следствия ряда предшествующих событий, так же как мартовская революция в Берлине, становится понятным, исходя из общих эмпирических правил, как адекватное следствие ряда общих социальных и политических «состояний». Если же можно было бы на основе общих эмпирических правил с достаточной степенью вероятности показать, что, не будь этих двух выстрелов у берлинского замка, революции можно «было бы» избежать, так как комбинация остальных «условий» без упомянутых выстрелов не «благоприятствовала» или недостаточно «благоприятствовала» ей (в том смысле, как мы пояснили выше), тогда можно было бы говорить о «случайной» причинной обусловленности и следовало бы в этом (правда, маловероятном) случае «свести» мартовскую революцию к упомянутым двум выстрелам в качестве ее причины. В примере, где речь идет об объединении Германии, «случайности» следует противопоставить не «необходимость», как полагает Белов, а «адекватность» в том смысле, как мы, вслед за Крисом, разработали данное понятие{48}. При этом надо все время помнить, что речь здесь идет отнюдь не

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org о различиях в «объективной каузальности» исторических процессов и их каузальных связей, а только о том; что мы, абстрагируя, изолируем часть «условий», преднайденных в «материале» исторических событий, и превращаем их в предмет «суждений о возможности», чтобы тем самым, отпавляясь от эмпирических правил, обрести понимание каузального «значения» отдельных компонентов событий. Для того чтобы понять природу реальных причинных связей, мы конструируем связи нереальные.

Тот факт, что речь идет об абстракциях, часто остается непонятым, причем специфический характер такого непонимания близок ряду основанных на взглядах Дж. Ст. Милля теорий отдельных юристов, специалистов в области вопросов каузальности, подвергшихся убедительной критике в вышеназванной работе Криса{49}. Вслед за Миллем, полагавшим, что математический коэффициент вероятности выражает отношение между («объективно») существующими в данный момент причинами, «ведущими» к желанному результату, и причинами, препятствующими этому, Биндинг считает, что между теми и другими условиями объективно существует отношение, доступное (в отдельных случаях) цифровому исчислению – или, во всяком случае, оценке – отношение, которое (при известных обстоятельствах) создает «состояние равновесия», и что акт причинной обусловленности заключается в том, что первые условия обретают перевес{50}.

Совершенно очевидно, что здесь в основу каузальной теории положен феномен «борьбы мотивов», выступающий при размышлении о человеческих «действиях» как непосредственное «переживание». Какое бы общее значение ни придавать данному феномену{51}, несомненно одно: ни одно строгое каузальное исследование, в том числе и историческое, не может принять этот антропоморфизм{52}. Дело заключается не только в том, что представление о двух «противодействующих» силах являет собой пространственно-временной образ, который применим без самообмана только в процессах – в частности, механического и физического типа{53}, – где при наличии двух в физическом смысле «противоположных» результатов один мог бы быть достигнут с помощью одной из сил, второй – с помощью другой. Кроме этого, необходимо прежде всего всегда помнить о том, что конкретный результат нельзя рассматривать как следствие единоборства нескольких стремящихся к нему причин и других причин, препятствующих его достижению, что все причины в своей совокупности, к которым ведет каузальное регрессивное сведение «результата», должны были совместно действовать так, а не иначе, для того чтобы конкретный результат был именно таким, а не другим, и что для каждой пользующейся каузальным методом эмпирической науки процесс, который ведет к данному результату, начался не с какого-то определенного момента, а существовал «от века». Если, следовательно, речь идет о благоприятствующих и противодействующих причинах данного результата, то это отнюдь не означает, что в некоем конкретном случае определенные условия тщетно пытались препятствовать достигнутому в конечном итоге результату, тогда как другие, несмотря на это, все-таки привели к нему. Упомянутое высказывание всегда и без исключения означает лишь то, что определенные мысленно изолированные компоненты действительности. предшествующей полученному результату, в соответствии с общими эмпирическими правилами обычно «благоприятствуют» результату данного типа. Это, как мы знаем, означает, что в подавляющем большинстве теоретически возможных комбинаций таких компонентов действительности с другими условиями они обычно приводят к такому результату; другие же компоненты действительности – не к этому, а к иному результату. Речь идет об изолирующей и генерализирующей абстракции, а не о воспроизведении фактически происходивших процессов. Если, например, Э. Майер говорит о событиях, где «все неукоснительно ведет к определенному результату» [с. 27], то в логически корректной формулировке это означает только то, что мы можем вычлениить и мысленно изолировать каузальные «моменты», по отношению к которым ожидаемый результат следует мыслить в отношении адекватности, поскольку можно представить себе лишь относительно немногие комбинации этих изолированно вычлениенных каузальных моментов с другими моментами, позволяющие «ожидать» в соответствии с общими эмпирическими правилами другого результата. В тех случаях, когда мы «воспринимаем» события так, как описывает их в приведенной цитате Э. Майер, мы обычно говорим о наличии определенной, направленной к данному результату тенденции развития{54}.

Это определение, так же как применение ряда образных выражений, таких, как «движущие силы» или, напротив, «препятствия» развитию, например, «капитализма», а также утверждение, что определенное «правило» причинной связи в конкретном случае «снимается» определенными сцеплениями причин или

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org (еще менее точно) что какой-либо «закон» снимается другим «законом», – все подобные определения не вызывают сомнения только в том случае, если осознан их чисто теоретический характер, то есть если все время помнить о том, что они покоятся на абстракции известных компонентов реального причинного сцепления, на мысленной генерализации остальных компонентов в форме суждений об объективной возможности и на их применении, для того чтобы придать происходящему форму причинной связи определенного членения^{55}. Нас не удовлетворяет в этом случае признание и сознание того, что все наше «познание» соотносится с преобразованной категориями действительностью, что, следовательно, «каузальность», например, является категорией «нашего» мышления. С адекватностью причинной обусловленности дело обстоит в этом отношении особым образом^{56}. Хотя мы ни в коем случае не претендуем здесь на исчерпывающий анализ категории каузальности, мы все-таки считаем необходимым, для того чтобы пояснить сущность относительной, обусловленной конкретной познавательной целью противоположности между «адекватной» и «случайной» причинной обусловленностью, сделать понятным и затем установить хотя бы кратко то, как во многих случаях весьма неопределенное содержание «суждения о возможности» тем не менее соответствует его претензии на «значимость» и позволяет применить его для создания исторических каузальных рядов^{57}.

Примечания переводчика

5

да будет так (лат.). – Прим. перев.

21

диаметрально (лат.). – Прим. перев.

22

со всеми подробностями (лат.). – Прим. перев.

25

в данном случае (лат.). – Прим. перев.

31

формирующая форма (лат.). – Прим. перев.

33

для школьного обучения (лат.). – Прим. перев.

37

на практике (лат.). – Прим. перев.

45

отец семейства (лат.). – Прим. перев.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Мы надеемся поэтому, что и в дальнейшем наши критические замечания, сознательно направленные на выявление слабости формулировок Э. Майера, не будут приписаны уверенности в своей способности «знать лучше». Ошибки, сделанные выдающимся ученым, поучительнее непогрешимости ученого нуля. В

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org наши намерения не входит и позитивная оценка трудов Э. Майера, вернее, обратное: мы стремимся учиться на его заблуждениях, прослеживая, как он пытается с переменным успехом решать важные логические проблемы исторической науки.

2

В дальнейшем будет показано, что это может произойти и с Э. Майером, если он будет слишком буквально применять ряд своих тезисов на практике.

3

Подобная «случайность» лежит, например, в основе игры в кости и бросания жребия, где удача определяется «случайностью». Полная непознаваемость связи между определенными компонентами условий, ведущих к конкретному результату, и самим результатом конститутивна для возможности «вероятностного исчисления» в строгом смысле слова.

4

Такие понятия «случайности» не могут быть исключены даже из относительно исторической дисциплины (например, биологии). Только об этом и упоминаем ниже, в прим. 6, «прагматическом» понятии «случайности» говорит, по-видимому, вслед за Э. Майером. Л. М. Хартман (см.: Hartmann L. M. Die geschichtliche Ent-wicklung, S. 15, 25). Несмотря на неправильную формулировку, он отнюдь не превращает «отсутствие причины в причину», как полагает Ойленбург (см.: Eulenburg. – «Deutsche Literaturzeitung». 1905, № 24).

6

Так, например, Липман (Lipman. Einleitung in das Strafrecht. 1900).

7

При этом недостаточно ясно сказано, что следует понимать под «исследованием мотивов». Само собой разумеется, что «решение» конкретной «личности» мы лишь в том случае принимаем просто как некую «последнюю» данность, если это решение представляется нам случайным в «прагматическом» смысле, то есть недоступным осмысленному толкованию или недостойным его. Таковы, например, порожденные безумием путанные распоряжения императора Павла. В остальном же одна из несомненных задач истории с давних пор состоит именно в том, чтобы понимать эмпирически данные внешние «действия» и их результаты, исходя из исторических «условий», «целей» и «средств» человеческой деятельности. Впрочем, и Э. Майер, поступает не иначе. Что же касается «исследования мотивов», то есть анализа действительно «желаемого» и основания такого желания, то это, с одной стороны, средство предотвратить вырождение подобного анализа в антиисторический прагматизм, с другой – одна из отправных точек «исторического интереса»: ведь мы, помимо всего прочего, хотим увидеть, как ведение человека преобразуется в своем значении под действием сцепления исторических «судеб».

8

Виндельбанд намеренно прибегает к этой формулировке (в последней главе своей работы «О свободе воли»), чтобы исключить вопрос о «свободе воли» из рассуждений криминалистов. Правда, возникает вопрос, удовлетворит ли эта формулировка криминалистов, так как именно вопрос о характере каузальной связи отнюдь не иррелевантен для применения уголовных норм.

9

Из чего, впрочем, отнюдь не следует, что в «психологическое понимание» ценностного значения объекта (например, произведения искусства) каузальное

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org
рассмотрение его генезиса не привносит ничего существенно нового. К этому
мы еще вернемся.

10

Это заблуждение я подверг критике в моей работе «Рошер и Книс и логические
проблемы истории политической экономии».

11

Действия русского императора Павла в последний период его смутного
правления мы рассматриваем как недоступные осмысленному толкованию и,
следовательно, предвидению, подобно тому, как рассматриваем бурю,
уничтожившую испанскую армаду: в первом и во втором случае мы отказываемся
от «исследования мотивов», – но отнюдь не потому, что мы считаем эти
события «свободными», и не только потому, что их конкретная каузальность
остается для нас скрытой (что касается императора Павла, то объяснить его
действия, быть может, могла бы патология), а потому, что они исторически
недостаточно нас интересуют. Подробнее об этом будет сказано ниже.

12

По этому вопросу см. мою работу «Рошер и Книс...». Строго рациональное
поведение – его можно определять и таким образом – было бы просто полной
«адаптацией» к данной «ситуации». Так, например, предпосылкой теоретических
схем Менгера служит строго рациональная «адаптация» к «состоянию рынка», и
они чисто «идеально-типически» показывают, каковы будут ее последствия.
История и в самом деле была бы не чем иным, как прагматикой «адаптации» (к
такому ее преобразованию стремится Л. М. Хартман), если бы она сводилась
только к анализу возникновения и взаимопереплетения отдельных «свободных»,
то есть телеологически совершенно рациональных действий отдельных
индивидов. Если лишить понятие «адаптации», как это делает Хартман,
телеологически-рационального смысла, то оно становится для истории (как
подробнее будет показано ниже) совершенно тусклым.

13

В другом месте Э. Майер не слишком удачно утверждает следующее:
«Историческое исследование делает свои выводы, идя от действия к причине».

14

см.: *Hist. Zeitschr.*.. 1899, 81, S. 238.

15

Об этом см. высказанные мною соображения в работе «Рошер и Книс...».

16

Эта формулировка напоминает известный, встречающийся у представителей
русской социологической школы (Михайловского, Кареева и др.) ход мыслей,
который характеризует Т. Кистяковский в статье «Русская социологическая
школа и категория возможности в проблематике социальных наук» в сборнике
«Проблемы идеализма» (Изд. Новгородцев. М., 1902); к этой работе мы еще
вернемся.

17

Breysig K. Entstehung des Staates bei Tlinkit und Irokesen. – In:
Schöllers Jahrbuch, 1904, S. 483 f. Мы ни в коей мере не касаемся здесь
вопроса о ценности самой этой работы. Правильность всех построений К.
Брайзига здесь, как и вообще при использовании подобных иллюстрирующих нашу
Страница 35

18

Тем самым мы отнюдь не отрицаем того, что конкретные рентгеновские лучи могут являть собой и «исторический» факт, изучаемый в истории физики. Исследователи в этой области могли бы проявить интерес и к тому, какие «случайные» обстоятельства привели в тот день в лаборатории Рентгена к констелляции, которая способствовала появлению упомянутой вспышки, и тем самым – допустим здесь следующее предположение – каузально обусловили открытие данного «закона». Совершенно очевидно, в какой степени изменится тем самым логическое значение этих конкретных лучей. Последнее стало возможным благодаря тому, что теперь они играют роль в такой связи, которая коренится в ценностной сфере («прогресс науки»). Иные, быть может, объяснят подобное логическое различие тем, что здесь совершен прыжок в область фактических пределов «наук о духе» – ведь космическое воздействие лучей оставлено вне сферы нашего внимания. Однако был ли этот «ценностный» конкретный объект, для которого лучи имели каузальное «значение», «физическим» или «психическим» по своей природе, для нас безразлично, в той мере, в какой он сам по себе «значит» для нас что-либо, то есть обладает ценностью. Если допустить фактическую возможность того, что познание направлено на него, то (теоретически) мыслимо, что конкретные космические (физические, химические и др.) воздействия этих конкретных лучей могут стать «историческим фактом», однако только в том случае (конструирование которого связано, правда, с большими трудностями), если каузальное исходящее от них движение привело бы в конечном счете к какому-либо конкретному результату, который являл бы собой «исторический индивидуум», то есть обладал бы для нас в своем индивидуальном своеобразии «универсальной значимостью». Только потому, что это совершенно очевидно, такая попытка, даже если бы она была осуществима, оказалось бы бессмыслицей.

19

Здесь автор на полях первого издания написал: «Скачок мысли! Вставить, что там, где факт принимается во внимание в качестве экземплификации родового понятия, он служит средством познания. Однако не всякое средство познания есть экземплификация родового понятия».

20

В таком переданном здесь смысле выражение «наука о действительности» вполне соответствует логической природе истории. Недоразумение, которое содержится в распространенном толковании этого выражения и сводит его к тому, что история только «описывает» события, не занимаясь их предпосылками, в достаточной степени охарактеризовано Риккертом и Зиммелем.

23

Тот факт, что логика строго разделяет различные точки зрения, которые эвентуально обнаруживаются в одном и том же научном исследовании, безусловно, не свидетельствует об ошибке; именно это служило предпосылкой ряда необоснованных критических замечаний в адрес Риккерта.

24

Этому особому случаю мы уделим более пристальное внимание в следующем разделе. Поэтому здесь мы намеренно оставляем в стороне вопрос, в какой мере данный случай можно считать особым в логическом смысле. Следует только со всей твердостью подчеркнуть, что случай, о котором идет речь в пункте «б», никоим образом не затрагивает логического противостояния исторического и номотетического использования «фактов». Ибо конкретный факт не трактуется здесь «исторически» в установленном смысле, то есть как звено конкретного причинного ряда.

Главным образом для того, чтобы отличать этот вид «интерпретации» от только языковой. То обстоятельство, что фактически такое разделение обычно не соблюдается, не должно препятствовать логическому различению.

27

Фослер, анализируя басню Лафонтена в столь же блестяще написанной, сколь намеренно односторонней статье, озаглавленной «Язык как творческий процесс и развитие» (Гейдельберг, 1905, с. 84 и ел.), против своей воли свидетельствует о том же. Он (так же, как и Кроче, с которым у него много общего) считает единственной «легитимной» задачей «эстетического» толкования показать, что – и в какой степени – литературное «творчество» является собой адекватное «выражение». Однако он сам вынужден обращаться к вполне конкретному «психическому» своеобразию Лафонтена [с. 93] и, более того, к «среде» и к «расе» [с. 94]; непонятно, почему это сведение к причинам, это исследование ставшего, которое всегда использует и генерализующие понятия (об этом речь пойдет ниже), должно было быть прервано, почему его продолжение оказалось не имеющим значения для «интерпретации» именно в том пункте, где это было сделано в его весьма интересном и поучительном очерке. Если Фослер отказывается затем от своей уступки, утверждая [с. 95], что он принимает «временную» и «пространственную» обусловленность только для «фактического материала», а об эстетической, единственно существенной «форме» говорит, что она «свободное творение духа», то очевидно, что он пользуется здесь терминологией, близкой терминологии Кроче: «свобода» означает у Фослера «соответствие норме», а «форма» – правильное выражение в крочевском смысле и в качестве такового тождественна эстетической ценности. Однако эта терминология вызывает сомнение, поскольку она ведет к сплетению «бытия» и «нормы». Большой заслугой Фослера является то, что в своей яркой статье он в отличие от чистых глоттологов и позитивистов в лингвистике вновь подчеркивает два обстоятельства: 1) что наряду с физиологией и психологией языка, наряду с исследованиями «историческими» и «изучающими законы чередования звуков» существует совершенно самостоятельная задача интерпретации ценностей и «норм» литературных произведений; 2) что собственное понимание этих «ценностей» и норм и вживание в них является необходимой предпосылкой также каузального толкования процесса духовного творчества и его обусловленности, так как творец литературного произведения или словесного выражения именно «переживает» эти ценности и «нормы». Однако следует помнить, что в этом последнем случае, где они служат средствами каузального познания, а не масштабами ценности, их следует логически принимать во внимание не в качестве «норм», но чисто фактически как «возможное» эмпирическое содержание «психического» процесса, в принципе так же, как бред паралитика. Я полагаю, что терминология Фослера и Кроче, которая неукоснительно ведет к логическому смешению «оценки» и «объяснения» и к отрицанию самостоятельности последнего, ослабляет убедительность их аргументации. Задачи чисто эмпирического исследования остаются наряду с теми, которые Фослер именуется «эстетическими», вполне самостоятельными как фактически, так и логически. То обстоятельство, что в наши дни этот каузальный анализ именуют «психологией народов» или просто «психологией», – лишь следование модной терминологии и, по существу, ничего не меняет в фактическом праве на существование и такого рода исследований.

28

Таково мнение Шмейдлера, высказанное в «Анналах философии природы» Оствальда [т. 3, с. 24 и сл.].

29

То же утверждает, к моему удивлению, и Франц Ойленбург в «Архиве социальных наук». Его полемика с Риккертом «и его единомышленниками» возможна, по моему мнению, только потому, что он изъясил из сферы своего рассмотрения именно тот объект, о логическом анализе которого идет речь, то есть «историю».

30

Исследуя социально-экономические детерминанты в возникновении конкретного «выражения» «христианства» или, например, провансальской рыцарской поэзии, я тем самым ни в коей степени не связываю эти явления с «ценностью», проистекающей из их экономического значения. Связанное с чисто техническими причинами разделение труда, посредством которого тот или иной исследователь или адепты одной традиционно выделяемой «дисциплины» намечают границы своей «области», не имеет, конечно, и здесь никакого логического значения.

32

Только тогда мы сможем приступить к рассмотрению различных возможных принципов «классификации» наук.

34

Возможно, что здесь речь идет об «эзотерическом» учении У. фон Виламовица, против которого в первую очередь направлена полемика Э. Майера.

35

Развернутость вышеприведенного изложения никак не связана, конечно, с тем, что может быть непосредственно на практике «использовано» для «методологии». Тому, кто по этой причине сочтет излишней такую развернутость, можно только рекомендовать вообще не уделять внимания вопросу о «смысле» познания и удовлетвориться тем, что он получает «ценные» знания посредством своей практической деятельности. Данный вопрос подняли не историки, а те, кто выдвинул ложное утверждение (и продолжает его варьировать), будто «научное познание» идентично «открытию законов». А это уже вопрос о «смысле» познания.

36

Это остается верным, несмотря на критику Кистяковского, которая такое понятие «возможности» вообще не затрагивает.

38

Рассмотренные ниже категории находят применение не только в области специальной науки «истории», но и (что мы всячески подчеркиваем) в любом «историческом» каузальном сведении каждого индивидуального события, в том числе и относящегося к «мертвой природе». Категория «исторического» здесь логическое, а не техническое специальное понятие.

39

см.: Kries. Ober den Begriff der objektiven M5glichkeit und einige Anwendungen desselben. Leipzig, 1888. Важные отправные точки этих рассуждений впервые изложены Крисом в его работе «Принципы вероятностного исчисления». Заметим сразу же, что вследствие самой природы исторического «объекта» для методологии истории имеют значение лишь самые элементарные компоненты теории Криса. Заимствование строгих принципов чисто «вероятностного исчисления» не только невозможно в каузальном историческом исследовании, что само собой разумеется, но даже попытка аналогичного использования этой точки зрения требует большой осторожности.

40

Наиболее глубокая критика применения теории Криса в решении юридических проблем дана Радбрухом (см.: Radbrnch. Die Lehre von der adaquaten Verursachung. Abhandlungen des Lisztschen Seminars. Bd. 1. N.F. Hf. 3. у него же см. основную литературу вопроса). Введенного им принципа расчленения понятия «адекватной причиной обусловленности» мы коснемся ниже,

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org после того как будет по возможности просто (а поэтому только предварительно, не окончательно) сформулирована теория в целом.

41

Из теоретиков статистики очень близок к теории Криса Л. Боркевич (см.: Borkiewitsch L. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der wahrscheinlichkeitsrechnung. – In: Conrads Jahrbucher. 3. Folge. Bd. 17 (ср. также т. 18) и его же: Die Theorie der Bevölkerungs- und Moralstatistik nach Lexis. – Ibid., Bd. 27.). Теория Криса легла также в основу работ А. Чупрова; с его статьей о статистике морали в энциклопедии Брокгауза и Эфрона мне, к сожалению, познакомиться не удалось. См. его статью о задачах теории статистики в: Schmollers Jahrbuch, 1905, S. 421 ff. Я не могу согласиться с критикой Кистяковского (в вышеуказанной статье в «Проблемах идеализма», с. 378 и ел.), которая, правда, пока, в предвосхищении дальнейшей разработки, только бегло очерчена. Кистяковский видит недостаток данной теории [с. 379] прежде всего в применении неверного, основанного на логике Милля понятия причины, в частности в использовании категории «составной» и «частичной» причины, которое в свою очередь основано на антропоморфном толковании каузальности (в смысле «воздействия»). (На это указывает и Радбрух – см. там же, с. 22.) Однако идея «воздействия», или как ее менее выразительно, но по своему смыслу тождественно называют идеей «каузальной связи», неотделима от каузального исследования, направленного на ряды индивидуального, качественного изменения. О том, что эту связь не следует (и не должно) обременять ненужными и весьма сомнительными метафизическими предпосылками, речь пойдет ниже. (О плюрализме причин и элементарных причинах см. работы Чупрова – там же, с. 436.) Заметим здесь только следующее: «возможность» – категория «формирующая», другими словами, ее функция заключается в том, что она определяет каузальные звенья, которые должны войти в историческое изложение. Напротив, исторически сформулированный материал не содержит, во всяком случае в идеале, никаких «возможностей»: правда, субъективно-историческое изложение лишь очень редко приходит к суждениям о необходимости, однако объективно оно, без сомнения, исходит из предпосылки, что «причины», к которым «сводится» результат (конечно, в сочетании с бесконечным множеством «условий», не представляющих интереса в научном отношении и поэтому в изложении событий лишь суммарно намеченных), являются собой его «достаточное основание». Применение этой категории ни в какой степени не влечет за собой давно преодоленное теорией причинности представление, будто какие бы то ни было звенья причинной связи до их включения в причинный ряд как бы «носились в воздухе». Противоположность своей теории теории Милля весьма убедительно, по-моему, показал сам Крис [см. там же, с. 107]. Об этом речь пойдет ниже. Верно здесь только то, что Милль также разработал категорию объективной возможности и сформулировал понятие «адекватной причинности».

42

Современное право видит свой объект не в преступлении, а в преступнике [см.: Радбрух, там же, с. 62], задает вопрос о субъективной «вине», тогда как история, будучи эмпирической наукой, ставит вопрос об «объективных» причинах конкретных процессов и о следствиях конкретных «действий» и не пытается судить «виновника». В своей критике теории Криса Радбрух справедливо указывает на этот основополагающий принцип современного – но не каждого – права. Однако при этом он признает значение теории Криса при расследовании таких деликтов [с. 75], как ответственность вследствие «абстрактной возможности влияния» [с. 71], ответственность за утрату прибыли и ответственность «неспособных к вменяемости», то есть повсюду, где речь идет об «объективной» каузальности. Именно к этой логической сфере относится история.

43

Наше суждение относится, конечно, не ко всем работам этого сборника; некоторые из них превосходны, но они – то по своим «методам» вполне «старомодны». Что же касается идеи своего рода «социально-политической» справедливости, которая направлена на то, чтобы (наконец-то, наконец!) отнестись к столь позорно пренебрегаемым историей племенам кафров и

Критические исследования в области логики наук о культуре. Макс Вебер filosoff.org индейцев по крайней мере с такой же серьезностью, как к афинянам, и для того, чтобы со всей отчетливостью подчеркнуть эту справедливость, делить материал по географическому признаку, то это не более чем ребячество.

44

Подробнее о следующем ниже см. мою статью о Рошере и Книсе. [Данная статья в наст. изд. не включена. – Прим. ред.]

46

Рассмотрим вкратце только еще один пример, который анализирует К. Фослер [там же, с. 101 и сл.] для иллюстрации нашей беспомощности в образовании «законов». Он указывает на известные особенности языка – их образовали в его семье, «итальянском островке в море немецкой речи», его дети: родители в разговоре с детьми этому подражали, причем возникновение языковых особенностей было связано с вполне конкретными событиями, полностью сохранившимися в памяти, – и задает вопрос: «Что же может объяснить в подобном языковом развитии психология народов» (и можно, продолжая его мысль, прибавить – любая «наука о законах»)? Взятое изолированно, данное явление *prima facie* действительно получило как будто достаточное объяснение; и тем не менее это не означает, что оно не могло бы быть объектом дальнейшей обработки и использования. Прежде всего то обстоятельство, что здесь определенно можно установить каузальное отношение {мысленно, так как здесь значение имеет только это), позволяет использовать упомянутый случай в качестве эвристического средства в изучении других процессов в языковом развитии, для выявления того, можно ли считать вероятным для них такое же каузальное отношение; однако это уже требует с логической точки зрения подведения конкретного случая под общее правило. Фослер сам (с. 102) сформулировал его таким образом: «Чаще используемые формы притягивают более редкие». Но это еще не все. Каузальное объяснение рассматриваемого случая удовлетворяет, как мы сказали, *prima facie*. Однако не следует забывать, что каждая, пусть даже как будто самая «элементарная», индивидуальная каузальная связь может быть расчленена и расщеплена до бесконечности, и точка, на которой мы останавливаемся, каждый раз определяется лишь границами нашего каузального интереса. В данном случае наша потребность в установлении каузальной связи совсем не обязательно должна удовлетвориться этим «действительным» ходом вещей. При внимательном наблюдении может, например, оказаться, что «притягивание», которое было обусловлено детским преобразованием языка, а также подражание родителей этому детскому языковому творчеству происходили в весьма различной степени в зависимости от различных словесных форм. Следовательно, мог бы возникнуть вопрос, нельзя ли установить, почему та или другая форма видоизменялась чаще или реже или вообще не подвергалась изменению. Наша потребность в установлении каузальной связи будет удовлетворена лишь в том случае, если условия такого преобразования будут сформулированы в виде правил, а конкретный случай получит «объяснение» в качестве особой констелляции, сложившейся под «общим воздействием» этих правил в конкретных «условиях». Тем самым презираемая Фослером охота за законом, изолирование и генерализация оказались бы в стенах его родного дома. Причем по его собственной вине. Ведь его общий вывод: «Аналогия есть вопрос психической власти» – с необходимостью влечет за собой вопрос о том, действительно ли невозможно выявить и сказать что-либо генерализующее о «психических» условиях подобных «отношений психической власти», и с первого же мгновения данный вывод Фослера – в такой формулировке – как бы насильно втягивает в решение этих вопросов главного врага Фослера – «психологию». Когда мы в конкретном случае удовлетворяемся простым изображением конкретного хода вещей, это может объясняться двумя причинами. Во-первых, тем, что «правила», которые можно было бы выявить в ходе дальнейшего анализа, в данном конкретном случае не предоставят науке возможности более глубокого понимания, что, следовательно, конкретное событие не имеет существенного значения в качестве «средства познания». Во-вторых, тем, что само конкретное событие, оказывающее воздействие лишь внутри узкого круга, не получило универсального влияния на развитие языка и тем самым оказалось лишены значения и в качестве исторической «реальной причины». Следовательно, лишь пределы нашего интереса, а отнюдь не логическая нецелесообразность обусловили тот факт, что событие в семье, на которое ссылается Фослер, не вошло, по-видимому, в «образование понятия».

47

Попытка позитивно конструировать то, что случилось бы, может привести к устрасяющим результатам.

48

Располагаем ли мы – и какими – средствами определить «степень» адекватности, играют ли при этом известную роль – и какую – именно при расчленении сложной «совокупности причин» на ее «компоненты» («ключ» для такого «расчленения» объективно ведь нам не дан) так называемые «анalogии», мы скажем ниже; данная здесь формулировка в силу обстоятельств носит лишь временный характер.

49

Я полностью отдаю себе отчет, в какой мере здесь, как неоднократно и раньше, заимствованы идеи Криса: к тому же наша формулировка в силу обстоятельств уступает по своей точности формулировкам Криса. Однако для цели нашего исследования то и другое неизбежно.

50

Binding. Die Normen und ihre Obertretung. I, S. 41 f.: К рис, там же, с. 107.

51

См.: Gon-iperz H. Ober die wahrscheinlichkeit der willensent-scheidung. Wien, 1904. Гомперц положил это в основу своей феноменологической теории «решения». О ценности его понимания данного процесса я судить не берусь. Тем не менее мне представляется, оставляя это в стороне, что данное Виндельбандом – намеренно для его цели – чисто понятийно-аналитическое отождествление «более сильного» мотива с тем лицом, в чью пользу оказывается «решение» (W indelband. Ober willensfreiheit, S. 36 f.), не является единственно возможным рассмотрением проблемы.

52

В этом отношении Кистяковский (там же) совершенно прав.

53

См.: К рис, там же, с. 108.

54

Непривлекательность слова ничего не меняет в существе дела.

55

Лишь в тех случаях, когда об этом забывают (что, к сожалению, достаточно часто случается), сомнения Кистяковского по поводу «метафизического» характера этого каузального метода оправданны.

56

По этому вопросу у Криса и у Радбруха решающие точки зрения либо отчетливо изложены, либо намечены.

Предполагалось, что будет опубликована еще одна статья по этому вопросу.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!